

ФИНАЛИСТ ПРЕМИЙ
«БОЛЬШАЯ КНИГА», «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР», «НОС»

ЕВГЕНИЯ
НЕКРАСОВА

СЕСТРОМАМ

о тех, кто будет маяться



18+

Роман поколения

Евгения Некрасова

**Сестромам. О тех,
кто будет маяться**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Некрасова Е. И.

Сестромам. О тех, кто будет маяться / Е. И. Некрасова —
«Издательство АСТ», 2019 — (Роман поколения)

Писательница и сценаристка Евгения Некрасова родилась в 1985 году. Окончила Московскую школу нового кино. Её цикл прозы «Несчастливая Москва» удостоен премии «Лицей» (2017), роман «Калечина-Малечина» вошёл в шортлисты премий «НОС» (2018), «Национальный бестселлер» (2019) и «Большая книга» (2019), лонг-лист «АБСпремии». Книгу рассказов «Сестромам. О тех, кто будет маяться» населяют люди, животные и мифические существа. Четыре кольца охраняют Москву, да не всегда спасают; старуха превращается в молодую женщину, да не надолго. В повседневность здесь неизменно вмешивается сказ, а заговоры и прибаутки легко соседствуют с лондонскими диалектами.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Некрасова Е. И., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Павлов	6
Лицо и головы	8
Лакомка	11
Вера	15
Начало	21
Гора	21
Зеркало	22
Веселье	23
Мама	24
Потоп	25
Полубог	26
Разговор	27
Начало	28
Разговор	29
После	30
Чудо-юдо	31
Настенные песни Гальки в исполнении Полубога	32
Счастливо	34
Поля	35
Сестромам	41
Шаг первый: из тела	41
Шаг второй: из души	44
Шаг третий: в люди	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Евгения Некрасова
Сестромам. О тех, кто будет
маяться. [рассказы, повести]

© Некрасова Е.И., 2019

© Горшенина А.А

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Татьяне Новосёловой

Павлов

На следующий день Павлов почувствовал укус вины, даже не укус, а так, жжение в области желудка. Ходил-бродил, жгло-пожёвывало. Ну и ладно. От чая или вина всё затихало. Думал, отпустит. Но неудобное чувство разрасталось внутри, как младенец, надувалось, оформлялось в настоящее, жизнеспособное. стакан то и дело краснел до краёв, но обезболивал мало, чай и вовсе перестал помогать. На четвёртый день вина пульсировала, крутила внутренности Павлова, рвалась наружу. Она хотела, как и каждый созревший ребёнок, развиваться вне своего родителя, но быть рядом с ним, и заглядывать в глаза прохожим, рассказывать им правду на своём виноватом языке.

А что такого-то? Ну, пнул его пару раз, зачем – всем понятно. Во-первых, плохо учится, во-вторых, постоянно, щенок, перечит. Мать всё его защищает. А он, Павлов, между прочим, не кобель, что бы там эта дура ни брехала. Он уже года два не знакомился, с тех пор как одна украла у него всю зарплату. Полина нашла пустой конверт и такой вой тогда подняла, да и сам Павлов счастлив не был. Пёс с ними, с суками, – траты вперемешку с болезнями. На то он, в конце концов, и женился – чтобы своя была, домашняя – гарантированная.

Он, если на то пошло, не кобель, а пёс – сторожевой. На службе – на страже и дома – на страже. Сторожить надо не только покой, здоровье и имущество семьи, но и порядок в ней. Всё должно происходить по правилам. Согласно им он, Павлов, главный – и его команды должны исполняться. Сказал – жрать, значит, тут же должен нарисоваться ужин, а что холодильник пустой, так это не его забота. Сказал – спортом заниматься, значит, идёт сучонок в секцию.

Мучительно катал разные такие мысли Павлов в своей пегой голове сутки за сутками – оправдывался. Однажды ночью, не найдя другого выхода, вылезла вина из его живота длинным чёрным червём через подгнивший рот и свернулась тяжёлым клубком на груди. Утром, как только он проснулся на смену по стервозному будильнику, вина встрепенулась и хомутом легла на павловскую шею.

Он с трудом втиснулся в маленькую фанерную будку и принялся, как всегда, сторожить разноцветный отряд переоценённого железа. Район, где Павлов работал, был так себе, поэтому очень дорогие и совсем новые тачки дефицитствовали. Был джип майора полиции – короткой женщины с чужой грудью. Она материла мужа при детях и спала с кем-то служебным. Вторая значительная машина в вотчине Павлова принадлежала молодому хирургу. Тот равнодушно резал человеческую плоть, брал за это серьёзные подарки и нежно гладил тёплую кожу салона своего авто. Третий был восстановленный винтажный «жук». Павлов поначалу посмеивался над залатанным металлическим насекомым. Но потом, увидя, как важно влезает в него тучный и усатый человек в джинсах со специальными дырами, охранник машинку зауважал и принялся рьяно гонять кошек, отдыхающих на сложенных жёлтых крыльях.

Другие машины были скучные. Наши новые-беспонтовые или иностранцы – старые, заезженные, ввезённые полуконтрабандой, порезанные на органы, а потом кое-как склеенные. Все они были добыты полжизнью вкалывания, скандалов, истерик, разочарований – не купленной шубой жене, не подаренным на день рождения компьютером ребёнку, собственными растерянными за годы зубами. В будни их хмурые водители пробегали мимо Павлова, заводились и втискивались в агрессивное, воюще-рычащее стадо. Вечерами они, счастливые оттого, что выжили по пути домой, снова доверяли свои 400, 500, 800 тыс. рублей охраннику и ныряли в пивную бутылку. По выходным совершался программный выезд на дачу или за грибами. Павлов не видел в этой жизни ничего для себя нового, и поэтому зевал, затягивая мух в свою чёрную рифлёную пасть.

Но случались на его стоянке и интересные истории. Пару лет назад он как-то заметил в самом дальнем углу своего периметра непонятное оживление. Пошевелил носом и почувал

сквозь запах отечественного бензина что-то от человека – срамное, физиологическое. Посеменил на место и увидел на заднем сиденье «Волги», принадлежащей тихому технику, два движущихся тела. Павлов решил не разгонять – как-никак и ему развлечение на ночь. Вскоре происшествие повторилось, потом снова и снова: тела барахтались в «Волге» на регулярной основе. Павлов быстро понял, что мужские контуры разные, а женские – часто повторяются. Подсмотрел он также, что пловцы попадали на стоянку через дырку, проделанную в заборе. Сам тихий техник «Волгой» пользовался редко – выезжал лишь на культурные прогулки по подмосковным домам-усадьбам, подстилая в гигиенических целях одеяла под свою семью.

Однажды ночью, когда Павлов самозабвенно наблюдал за пассажирами «Волги», у авто тихо возник сам тихий техник. Охранник, с трудом застегнув ширинку, начал оправдываться, но тут же понял и быстро ринулся в атаку. Договорились-снюхались, Павлов вошёл в долю, а ночные гости принялись входить на стоянку официально, через ворота. Тихий техник ещё полгода сдавал двум приезжим женщинам заднее сиденье своей «Волги». Потом вдруг всей семьёй отцепился от насиженной панельной многоэтажки и уехал ближе к Европе, в Калининград. Павлов часто скучал о таком предприимчивом человеке и всегда ждал, когда на стоянке появится кто-нибудь подобный.

Охранник со свистом вздохнул. Вина давила плечи, грудь и брюхо. Щурилась вместе с ним от молочного зимнего солнца. Щекотала Павлову нервы кончиком хвоста. Не давала покоя, мяла душу в вечные морщины. Сегодня Павлов впервые не возбудился, вспоминая бордель на заднем сидении «Волги». Острая, зудящая мысль, то ли прямой потомок, то ли шлак павловской вины, мучила сторожа с самого начала смены. А было ли когда-нибудь – у короткой милиционерши, у позолоченного хирурга, у сообразительного тихого техника или у маринующих друг друга в ругани семей – чувство вины? Хоть за что-нибудь?

Сухие ноги Павлова, следуя привычному маршруту, прямоугольно обошли стоянку. Дранные кошки бросились врассыпную от его тяжёлых, царапающих асфальт ботинок. Павлов, не обращая внимания на более слабых животных, продолжал ломать мозги о каменный вопрос. Наступило обеденное время. Еды у него не было – никто не позаботился, Полина с ним не разговаривала уже несколько дней. Но, повинувшись условному рефлексу, Павлов уселся в свою будку и почувствовал, как начал отделяться желудочный сок.

Внезапно у бедра закудаhtал мобильник. Павлов оскалился от страха – это была Полина.

– Если интересуешься, он в себя пришёл, говорят, завтра переведут из интенсива в обычный стационар. – И швырнула трубку.

И откуда только он, щенок одиннадцатилетний, так подробно узнал, как себя на тот свет отправить? Хорошо, не успел далеко забраться. Вина посмотрела Павлову в серо-голубые глаза и простонала. Половина её тела, с хвоста, тут же беззвучно отломилась и рухнула на фанерный пол. Вторая, составляя ещё два плотных кольца, осталась висеть на шее своего создателя. Павлов впервые за четверо суток вздохнул всей диафрагмой, погладил вину по длинной морде и заплакал.

Лицо и головы

Николаю Николаевичу Некрасову

Косте было два года и четыре месяца, когда он потерял мать. Он часто тягался с памятью, хотел вытащить материну внешность на поверхность, особенно образ её лица. Помнил только, как голову гладили её руки. Ещё собственное ожидание матери у ворот. Она всегда приносила ему какую-нибудь сладость с рынка. Помнил действия: приходила, подбегал, тянулся вверх, поднимала, держала, обнимала. Руки длиннопальцы, с острыми косточками, жёсткими жилами и синими подкожными нитками. Позже он узнал, что такие руки хороши пианистам. И соломенную его голову гладили замечательно.

Восьмилетним потом стоял в очереди под тоже очень хорошими руками. Меньше, чем у матери, но тоже острыми и длиннопальцами. Взял запястье, подтянул к своей голове, принялся гладить себя чужой ладонью. Хозяйка дернулась от удивления и злости и, не успев успокоиться, вдруг отвлеклась, чтобы ругаться с пытающейся влезть без очереди, и забрала руку.

Костину мать убили. У убийцы были чёрные рога, стёртые копыта и мощной кистью хвост. До чёрта виновнику Костиного полусиротства недоставало разума. Но почти по-человечьи хватало страха и сбитого инстинкта. У новой коровы не получалось ужиться с матерью. Любимые Костей длинные пальцы казались корове ножами, которыми её обязательно зарежут. Когда однажды мать пришла доить, корова увидела – как ярко-оранжево задаётся сегодня, муху-самолёт, пролетающий на фоне заляпанного неба, – и вдруг поняла, что сейчас её убьют. Она атаковала самым острым, что у неё было – рогами, – в то мягкое, из чего женщины доили себя, – в грудь. Мать полежала два дня и умерла. Корову, как та сама и предчувствовала, зарезали, но следующим вечером. Отец сразу продал убийцу за полщены на мясо.

Костя не достоял очередь и ушёл. Мачеха с ног до головы упеленала его ругательствами и отняла ужин. Отец поспешил жениться на женщине со взрослой дочерью. Нужна была ласка и забота для пяти оставшихся полусирот. Матерью новая жена отца была только для своей дочери, а Косте и его сёстрам получилась настоящей мачехой. Её лицо Костя зачем-то помнил хорошо. Круглое, тонкогубое, с вечно нерадостными тремя морщинами и тяжёлым лбом, обрамлённое по-звериному жёсткими волосами. Кость в горле – назвала мачеха Костю. Его особенно не любила, потому что ему как самому позднему полагалось от неё больше всего внимания.

Сестер он не просил класть ладони себе на голову, потому что их головы были такими же непокрытыми, а руки такими же маленькими, как и у него.

После первого своего сближения с женщиной уже взрослый Костя взял её мягкую руку и принялся гладить себя по темени. Женщина была совсем взрослая и понимающая, она долго и щедро гладила его жёлтые волосы. Костя зажмурился и попытался вынуть из жижи памяти мать – не смог. Потом у Кости появилась жена старше его на четыре года. В первые семейные годы она много гладила его голову, шутила, что помогает ему думать в его инженерной работе. Но потом забегалась в хлопотах и перестала. Её глаженья все равно не помогали вспомнить мать.

В церкви Костя всегда всматривался в образа женских святых, пытаясь по ним сконструировать образ лица матери. Святые то ли улыбались, то ли смотрели обречённо, но мать совсем не напоминали. Косте снились кошмары: длиннопальцы руки с острыми косточками, жёсткими жилами и синими нитками ласково гладили его макушку, он смотрел вверх и видел женщину с головой коровы или мачехи. Последняя пугала страшнее, а корова была почти родная, привычная убийца матери.

В детстве Костя боялся коров. Потом страх высох, Костя приезжал к сёстрам из города и сам доил их коров крепкими коренастыми ладонями с мощными фалангами и крепкой, непрозрачной кожей.

В кошмарах голова мачехи также похотливо улыбалась, как та не стеснялась улыбаться приходящим к отцу приятелям в его же присутствии. При виде коровы Костя начинал мычать, чтобы проснуться, а при виде гнусно улыбающейся мачехи он орал: «Верни обрез, стерва!» Стерву Костя повторял за отцом, тот сам звал так новую жену из-за частых скандалов, которые она начинала. Бороться с ней отец не умел, пришибленный смертью любимой жены и уже почти старей. На момент второй женитьбы ему исполнилось пятьдесят пять.

Во сне Костя то ли путал обрез с образом, то ли вспоминал историю о четырёх чемоданах.

Старший брат вернулся с четырьмя чемоданами тканевых обрезов. Ничего про то, откуда пришло добро и как брат получил его, Костя не знал, понятно было только, что всё это передала война. Чемоданы спрятали за русскую печь, и брат уехал в деревню направо жениться на школьной учительнице. Дочь мачехи вернулась с остриженной косой и вышла замуж за засохшего матроса в деревню налево. Остальные дети разъехались. Костя учился в городе. Он уехал туда сначала из-за формы и еды: вместе с одеждой в училище ему выдали первые в его жизни сапоги, а в столовой регулярно кормили. Но потом его удивили и очаровали законы Ома и истории о том, почему работают двигатели.

Через коровник (с новой женой появились новые коровы), по крыше, через сеновал, в дом пробрался человек. Он, как и Костина мать, не показывал лица, пришёл в маске и сразу полез домовым за печь. Отец хотел защитить сыновий трофей, но получил удар в плечо и был слишком стар, чтобы биться дальше. Мачеха вовсе не испугалась и даже не стервозила на вора. Из всего получалось, что она знала человека под маской, а он знал, где искать чемоданы.

После грабежа семья совсем развалилась, и мачеха уехала к дочери и её мужу шить новые занавески на окна. Отец существовал несколько месяцев один. Костя нашёл его печальным, нерасчёсанным и необстиранным – посреди неживого хозяйства. Мачеха-стерва всё же работала у отца женщиной.

Восьмидесятилетний Костя помыл посуду, вытер пыль своей старой футболкой и точно вспомнил лицо отца в тот день, когда вернулся в родительский дом после учёбы. Две недели назад Костя оставил на кладбище жену и тоже мучился один, хотя, в отличие от отца, не имел сложного деревенского быта и многое умел делать сам. Подумал, что это их специальная фамильная судьба – оставаться без женской заботы. А ещё решил, после смерти женщины попадают в отдельный от мужчин рай, чтобы навсегда отдохнуть от домашних дел.

Костя перевёз отца к старшей сестре и спросил у неё, как выглядело лицо их матери. Сестра пододвинула к Косте зеркало. Зеркало моргнуло от солнца и показало две одинаковых небольших головы с голубыми глазами, курносые носы и волосами-соломой. Сестра улыбнулась брату и сказала, что вот он – образ лица матери. Костя не согласился: в стекле – это они, а у матери было другое, своё, отдельное лицо. Он впервые тогда поссорился с сестрой, хотя привык никогда ни с кем не ругаться.

Той ночью два кошмара сговорились против Кости, и длиннопальцы руки с острыми косточками, жёсткими жилами и синими нитками ласково гладили его макушку, потом вдруг сгребли жёлтую его копну в железный захват и потянули на себя. Он посмотрел вверх и увидел там белоснежную, заплёванную веснушками голову в каске рыжих волос. Веснушечье корчилось от усердия, азарта и ненависти. Близко расположенные серые глаза широко открывались и закрывались, будто дышали, в густой рыжей оцинковке.

Голова немецкого лётчика немедленно отделилась от тела, резко взлетела вперёд, развернулась и понеслась на Костю. Он побежал по открытому полю. Рыжая начала пикировать и плевать в Костю пули. Просвистев над макушкой, она залетела далеко вперёд, развернулась, снова полетела на Костю с оглушающим свистом. Тот врос ногами в землю, часто задышал и

принялся смотреть на приближающуюся голову. Она стреляла, плевки ложились в поле совсем рядом. Рыжая спикировала так низко, что стало заметно красную родинку у мочки уха. Костя рванул к лесополоске. Сзади в его сторону снова полетели пули-плевки. Костя пробежал мимо глухой коровы, спокойно жующей в поле, её голова не тронула.

Костя ворчал: зачем ему ребёнком, мужчиной и стариком знать, как выглядели та корова, мачеха и рыжий фашистский летчик? Почему помнить наипугающее, а забыть наилучшее? Зачем он так безласково провёл много десятилетий и зачем сейчас опять один? Костя сильно обиделся на весь женский мир. С городских могильных камней по-обычному смотрели жена и сестра. Он сел на кованую лавку, погладил себя по белой голове и посмотрел вверх. Вдруг всё заботливое, материнское, сестринское, любящее и любовное, что нашлось в мире в ту секунду, – затянуло небо.

Оно сказала, что закончившийся век был самым неженским, потому что датировал собой слишком много смертей детей и мужей. Что женскому также тяжело пришлось без отцов и мужчин, как и Косте без матери. Что про наплывающее столетие тоже никто не уверен, боится загадывать и гадать. Что образ материного лица, который Костя так хочет отнять у памяти, воссоздать нельзя. И жаль, что Евдокия Кукушкина, его мать, была так занята во время жизни и бедна, что не сходила к фотографу. Но, говорило женское, лицо матери – это и есть лицо жены, когда Костя узнал её в первый раз, это и есть лицо только что родившегося сына, а потом – внука. Что образ лица матери – это первая и единственная Костина легковушка, ещё новая, улыбающаяся ему у завода после пятилетней очереди. Дальше женское не сумело продолжить, потому что рассеялось по всему миру делать свою обычную работу. Костя протёр могильные камни, посидел ещё немного и поехал домой – готовить себе обед.

Лакомка

Ангелине Кузьминичне Некрасовой

Кочевое царство света разбило лагерь в квартире номер три на Первомайской улице. Лучи лезли в глаза, как слепни. Крест рамы был съеден ими почти до основания. Подоконник исчез вместе с рассадой, тюль будто высох и рассыпался в пыль. Книжный шкаф, диван, кресло, два стула, гардероб, кровать и телевизор – всё дрейфовало в липком солнечном желтке.

– Тебе обед разогреть?

Инна замотала головой. Мама лежала на диване в клумбе своего халата и нарочно говорила строго – дочь вчера уронила сервант на кухне. Весь набор посуды – вдребезги и в помойное ведро. И собирать умаялись.

Хлопковые розы украшали маму от колен до шеи. Инна удивлялась, почему не колются.

– Ну, как знаешь. До ужина ещё долго.

Мамины пятки, похожие на присыпанные мукой горбушки, были сложены одна на другую. Большая и красивая, она лежала на боку, полусогнув колени и подложив руку под голову. Чёрные пряди-повстанцы, сколько ни убирала, сбивались на потных висках, открывая справа глубокий молочный шрам.

– Мороженого бы... – проговорила мама, зевая, и отвернулась лицом к спинке дивана, спиной к Инне.

Когда она заснула, солнечные лучи котятками обосновались на её боку, не боясь шипов. Инна тихо подошла к спящей и с надеждой посмотрела ей в спину. Вот сейчас мама повернётся и скажет Инне что-нибудь ласковое. Но мама спала, и розы дремали вместе с ней.

Сервант опрокинула, да. Но откуда же знать, что клюквенное уже давно переехало оттуда в кладовую... Инна задумалась. А что, если, пока мама спит, сходить до ларька и купить ей мороженого? Страшно, конечно, но зато мама так обрадуется, что обязательно забудет про сервант.

Деньги прятались в кошельке. Кошелёк в сумке. Сумка в ящике. А ящик, будто язык, высовывался из гардероба. Но гардероб на замке. Замок на ключе. Ключ в кладовке – серьгой на крючке.

Инна щёлкнула выключателем, потом пыталась долго открыть дверцу кладовки, но местное чучело из куртки и кепки крепко подпирало её изнутри. Инна, упрямая, давила что есть силы. Чучело чуть-чуть ещё поборолось и сдалось. Ключ висел с ним по соседству. Инна стащила его и, прокравшись на цыпочках мимо мамы, отворила гардероб.

Ящик выдвинулся только на треть и застрял в пазах. Инна тянула его на себя. «Не покажу язык, – капризничал гардероб, – и зачем тебе деньги? Куда-то ты собралась, да ещё без мамы?! Упадёшь, пропадёшь! Сиди дома!» – «Мне надо, я и пойду!» – упиралась Инна и продолжала тянуть гардероб за язык. Он ругался, поскрипывал, но не сдавался. Инна раздражённо задвинула ящик обратно в паз, и гардероб, видимо, от боли тут же выдал ей свой язык до самого корня, издав громкий деревянный стон. Инна застыла. Мама пошевелила пяткой, но не проснулась.

Все деньги решила не брать, ещё потеряет. Одной такой бумажки хватит. Обувка где? Мама, наверное, всё куда-то спрятала – Инна же больше двух лет не ходила на улицу. Ничего-ничего, прям так, в тапках.

Связка ключей лежала на тумбе в коридоре. Чучело махало на прощание из кладовки. И ехидно скалилось. Знало, что Инну ждут ещё две другие двери. Они всю жизнь ненавидели людей и оба мира, воротами в которые являлись: и наружный, и внутренний. Плевались клю-

чами, зажимали их мелкими зубками, хлопали, скрипели – в общем, делали всё, чтобы хозяевам и гостям было чрезвычайно неудобно.

Внешняя дверь с металлическим скелетом, та, что жила лицом в наружный мир, была старше и озлобленней, чем внутренняя. Тяжело двадцать лет вдыхать подъездные запахи, корчиться обивкой от холода да смотреть на злобные рожи. Заноза по характеру.

Внутренняя, из дерева, была легче, моложе, спокойнее. Жила в тепле, плохих людей не знала, дышала только запахами своей квартиры. Поэтому и открывалась быстрее. Но в этот раз именно она раскапризничалась. Прodelала полный набор известных всем дверям трюков: жевала ключ, стопорила замок, не поворачивала ручку и прочее. Но Инна продолжала тихо сражаться, пока вдруг сверху не пополз знакомый шум.

Соседка с четвёртого этажа (а Инна сразу догадалась по звуку, что это она) бойко сходила вниз по лестнице. Любопытная, до всего охочая бывшая учительница Евгения Степановна. Не хватало ещё, чтобы она, услышав драку с дверью, позвонила в звонок и разбудила маму. Пришлось прерваться. Поравнявшись с квартирой номер три, соседка остановилась. Инна зажмурилась от страха. Евгения Степановна хрустнула молнией и отправилась дальше.

Инна заново вцепилась в дверь, и та наконец поддалась, предательски громко скрипнув. Ничего-ничего. Мама спала. Инна отчётливо слышала её правильное, размеренное дыхание.

Вторая дверь, видно сжалившись над Инной или просто решив с ней не связываться, открылась быстро. Подъезд ударил в нос запахом мочи. Солнечные лучи брезгливо ступали на загаженные ругательствами стены. На пол не вставали вовсе. Подъездная дверь оказалась современная. Отворилась от нажатия маленькой кнопки, правда, Инна потратила три минуты, чтобы нащупать её в темноте.

Улица как улица, совсем как из окна. Чего бояться-то? Удивительно, что здесь меньше солнца, чем у Инны дома. Она поёжилась, было прохладно. К счастью, никого из соседей поблизости. А то бы начали приставать с расспросами, куда она собралась без мамы.

Лучшее мороженое продавалось известно где – на площади, в синей коробке с окошком. Идти отсюда, смешно сказать, минуты четыре. Обойти дом, там и площадь. А на другом её конце – ларёк. Они, между прочим, живут с мамой в самом центре города. Инна повернула направо от подъезда и захромала вдоль пятиэтажки. Бумажка капустным листом скрипела в сжатом кулачке. Внезапно Инна увидела Евгению Степановну, выплывшую из-за поворота ей навстречу. Полная, с непропорционально тонкими руками, соседка походила на старый школьный рюкзак с протёршимися ручками, к одной из которых был привязан пластиковый пакет с покупками.

Инна огляделась и зашла за кирпичную подвальную пристройку, покатую, как детская горка. Под ногами что-то хлюпнуло. Инна опустила голову и увидела, что наступила в тарелку с густой серой жижей. Местные женщины кормили хмурых уличных котов. То ли каша, то ли картофельное пюре забралось Инне на левый тапок и измазало свисающий за подошву шерстяной носок. Инна принялась водить ногой по асфальту, оставляя серое на сером.

Вдруг рядом возникла Евгения Степановна. Инна, отпрянув назад, в самый угол, снова ступила в тарелку уже правой. Соседка прошла мимо, бормоча что-то себе под нос, словно повторяя выученный урок. «Сдачу считает», – поняла Инна.

Она кое-как обтерла о траву тапки и отправилась дальше. Вот арка, круглая и красивая, но пахнущая хуже их подъезда. Инна зашла под кирпичный свод, и стало по-вечернему темно. Впереди, будто в округлой рамке, висели ёлки и плитка главной площади города. Внезапно из темноты Инне под ноги кинулось большое рыжее пятно. Мелькнули мокрые клыки, злобный лай принялся кусать застоявшийся воздух. Инна замерла от ужаса и выронила заветную бумажку.

– А ну-ка, рядом! – резанул по ушам низкий женский голос.

Собака исчезла. Инна постояла, недвижимая, несколько секунд, потом нагнулась и, схватив цветную бумажку, заспешила вперёд.

На площади шумел народ. Мамы с колясками, бронзовая мать с венком. Несколько пьяниц скромно заняли одну косую лавку. Зато стаи подростков оттапали сразу половину площади. Скамейки, бордюры, клумбы, асфальт были усыпаны ими. Все тинейджеры походили на зубы: девочки – на золотые или металлические, а мальчики – на гнилые, чёрно-жёлтые. Пили пиво, плевались семечками и матом, а попадали в серую плитку и друг в друга. Инна, стиснув кулак, как можно быстрее прошла мимо, стараясь не приближаться к щёлкающим зубам.

Выцветшая голубая палатка с похищенной первой «о» стояла заколоченная. За ней по бокам – конвой – две полысевшие ели виновато качали макушками. Инна растерянно смотрела на фанеру вместо окна. Ничего-ничего. Через дорогу есть магазин, а в магазине тоже есть мороженое. Мама устала, наверняка не проснётся до самого вечера.

Инна развернулась и, как умела, поспешила к дороге. Солнце шкурило кирпичи на клумбах, со стороны автобусной остановки летела бабочка. Ничего-ничего, время уже не обедненное. И выбор там ещё лучше, чем в ларьке. Инна улыбнулась. Тут сзади ударил пронзительный истеричный вой. Она обернулась – на неё летела свора грязных собак, на ходу не переставая нюхать друг друга. Инна ахнула и бросилась вперёд. Мимо замелькали сухие ели, подростки с бутылками, дома с рекламными вывесками, наконец в левый глаз влетело что-то блестяще-серое. Раздался скользкий металлический вой, гораздо громче и страшнее собачьего.

Инна стояла посреди дороги. В метре от неё гудел похожий на акулу автомобиль. Собаки разбежались от страха. Водитель, высунувшись, кричал что-то обидное. Инна в этот раз даже не выронила купюру. Не посмотрев на водителя, она зашагала дальше. Он гавкнул ей вслед и скрылся в акульем брюхе.

Показалась «Союзпечать», и Инна подумала, что надо будет купить маме газету на сдачу. В магазине было пусто и холодно, как в операционной. Наверное, потому, что здесь было целых три морозильника: один с пельменями, другие два – с мороженым. Инна приблизилась к прилавку. Продавщица, полная, с выкрашенной в жёлтый головой, трясла шипящий мужским голосом магнитофон, словно хотела вытрясти оттуда исполнителя. Инна попросила «Лакомку» – мамино любимое. Работница магазина взглянула на протянутую ей купюру и затряслась, как электрическая.

– «Лакомка» пятьдесят рублей стоит! Там ценник есть, между прочим!

Инна часто и растерянно заморгала. Продавщица вновь взялась тискать пластиковую шарманку. Баритон шипел о женском одиночестве.

– А давайте я заплачу, – девушка-покупательница в очень коротких шортах выложила на прилавок бумажки и протянула Инне «Лакомку».

Шипение усилилось, окончательно заглушив песню. Продавщица выругалась. Девушка попросила себе пива.

Счастливая Инна вышла на солнце. Мама проснётся, а тут Инна с «Лакомкой». Инна радостно зашагала домой мимо людей, собак и автомобилей. Через пятнадцать минут она заметила, что нет площади и елей и что, самое страшное, куда-то подевалась их с мамой кирпичная пятиэтажка. Постройки выросли и посерели, деревья поредели, а люди вымерли вовсе. Пальцы на правой руке слиплись вместе – это текло по ладони тающее мороженое. Где-то поблизости были то ли собаки, то ли машины. Инна остановилась и, озираясь по сторонам, тихо позвала:

– Мама...

* * *

– Это вам ещё повезло, что я к сыну сегодня пошла. Творога такого хорошего купила, думаю – внучке отнесу. Они такой гадостью её кормят.

Евгения Степановна, застряв в проходе двери и колыхаясь холодцом своего тела, вещала уже минут двадцать. В окне было темно. Вода звенела из крана в раковину, у которой возился худой старик. Перед Инной стояла тарелка с дымящимися щами. Рядом в стеклянной пиалке лежала измазанная в шоколаде золотинка с липкими белыми комками – всё, что осталось от растаявшей «Лакомки». Инна не давала выкинуть. Старик протянул ей ложку.

– ...Так я иду, а тут девочка навстречу (Вот хорошо, хорошо, Инна Ильинична, вы покупайте супчику. Он сытный) и говорит: бабушка тут чья-то потерялась, точно не из нашего двора. Ну, я смотрю – наша Инна Ильинична! Заблудилась!

Инна обхватила ложку изогнутыми морщинистыми пальцами и строго взглянула сначала на соседку, потом на мужа.

– И чего она так кричит? Пускай уходит! Ещё маму разбудит!..

Старик вздохнул и принялся домыывать посуду.

Вера

Вера любила смотреть на мужчин. Щекотать, поглаживать, царапать их глазами. А чем они хуже картин или кино? В сто раз замечательнее – дышат, шутят, курят, бывает, ухаживают. Она щупала взглядом каждый сантиметр композиций их тел и рамок их одежды. От такого пристального досмотра даже самые опытные смущались и прятали от Веры глаза в нагрудные карманы.

Красоты в ней было мало. Невысокая, с тонким ртом, пухловатая. Зато из Вериных распахнутых глаз валил такой мощный столп счастья, что проходивший мимо не мог не зацепиться. Но, оказавшись рядом, боялись взглянуть ей в глаза – уж очень обжигала.

Вера смотрела не на всех подряд. Неряшливые, лохматые, низкие, узкоплечие, небрежно одетые – для неё не существовали. Они просто не отражались на хрусталиках её глаз. Этот оптический дефект сделался причиной крупных неприятностей. В первый раз Вера не заметила проходящего мимо вора в собственной, разумеется коммунальной, квартире. Хорошо, что Варваре Аркадьевне, одинокой старухе, похожей на ком мятого тряпья, приспичило тогда в уборную. На выходе из своей комнатухи она наткнулась на низкого, как ребёнок, домовника с тюком соседского добра и заскрипела на весь дом.

Во второй раз получилась совершенно уж неприглядная история. Вера не обратила внимания на сильно сутулого горкомовца, принёсшего свой помятый плащ в учреждение, где она работала секретарём. Горкомовец тихо прозябал в приёмной непримеченным целых восемь минут, на исходе которых он подбежал к Вере и принялся её материть. Она моргала широко распахнутыми глазами, пытаясь впустить в своё мировоззрение этого сильно непривлекательного человека.

Уволить не уволили, но сделали страшный выговор и лишили премии. Даже направили в прикрепленную к учреждению поликлинику – проверить глаза. Офтальмолог сказал, что не видел зрения лучше с 1917-го.

Вера плакала. Не из-за премии, а от стыда. Как можно в их великой стране всеобщего равенства так пренебрежительно относиться к людям? Подумаешь, мятый плащ и нехватка роста. Перед взглядом все равны.

Но с собой Вера ничего не могла поделать. Острые, блестящие глаза, словно блесна, цепляли исключительно породистый и ухоженный улов. Военный, инженер, врач, пожарный, журналист и многие другие – высокие, причёсанные, с иголки костюмированные – показывали Вере галереи, кино, цветы, восхищение, заботу, любовь. Ей нравилось, что всем нужно и можно было любоваться. Она, всеядная от радости, пожирала глазами всё попутное: и великанское лицо Орловой на экране, и аппликацию белеющего во мраке лица рядом, и силуэтики гвоздик в своих руках, и темноту, обнимавшую всех в кинотеатре.

Несмотря на отряд просмотренных поклонников, ни с кем Вера не доходила до близости. Чувствовала, что все были не те. Она боялась не того, что она впервые почувствует, а того, что она впервые увидит. Лишение девственности представлялось ей именно таким визуальным процессом. Она часто думала, разглядывая себя в зеркале, что недаром природа сделала глаз столь похожим на лоно. Та же прорезь, те же волосы окоёмкой. Зрелище первого в Вериной жизни мужчины должно было вытолкнуть невинность из её зрачков.

Время мелькало. Вера жмурилась, уставая от постоянной экзаменации лиц и тел. Никто не годился, а ей стукнуло уже двадцать два года. Вере стало мерещиться жалкое, обречённое одиночество.

И вот, наконец, в поле зрения появился Юра. Он был так статен, опрятен и хорош собой, что Верины глазные яблоки налились густым изумрудным цветом. Она в три раза сильнее обычного лучила новому поклоннику очи и не могла с собой совладать.

Юра стал первым и единственным мужчиной, способным открыто смотреть ей в глаза, не пряча их под козырьком фуражки. Справедливости ради, стоит заметить, что так Юра глядел не только на Веру, но и на весь окружающий мир. Открыто, бесстрашно, уверенно, с намерением всё изменить. За это Вера и полюбила его.

Ещё до свадьбы она увидела то, чего боялась и хотела раньше. Всю ночь смотрела во все глаза так, что даже Юра смущался и бормотал: «Ну-ну, всего уже обсмотрела, хватит...»

После свадьбы жизнь и вовсе стала загляденье. Дали большую комнату. Юра ходил на службу. Чем именно он занимался, Вера не знала. Ей было не до того. Она наконец-то поняла, зачем природа наградила её таким работающим взглядом. Вера принялась с максимальным усердием следить за чистотой в доме, за Юриной формой, за питанием, за родившимся сыном Митей. Жизнь наполнилась смыслом – не упускать ничего из виду: ни жёлтых пятен на пелёнках, ни пыли на серванте, ни сбегającego за край кастрюли молока. Вера не думала идти на службу – она работала не покладая рук и глаз дома.

Жили счастливо. Водили маленького Митю в кино, зоопарк и кафе-мороженое. Каждое лето ездили на юг. Вере нравились горы, море, виноградники – красивый фон для главных персонажей её жизни.

К двадцати семи годам Вера заметно похорошела от семейных хлопот и достигла пика той своей красоты, которая ей полагалась. Всё, что она видела на своём пути, доставляло ей несказанное удовольствие. Объекты её нежного наблюдения множились. На пятую осень их брака родилась дочка Тоня. Новый год они встретили вчетвером в отдельной квартире. Это бытовое улучшение объяснялось Юриным назначением на должность главного прокурора города. В Вериных зрачках толпились высокие потолки, широкие стены и паркетные полы их нового дома.

Несмотря на годы совместной жизни, Вера с трудом могла отцепить от Юры восхищённый взгляд. Он же в последнее время хмурился, меньше обычного возился с детьми, плохо спал ночью. Вера это видела, связывала с его усталостью на работе и принимала меры, вроде увеличения его порции ужина и всеобщего раннего отхода ко сну.

Если бы Верины глаза смотрели чуть шире, они бы наверняка заметили некоторые странности, происходящие вокруг. Например, скоростное исчезновение с первого этажа врача и всей его семьи – жены и двух сыновей-подростков. Вместо них жилплощадь до краёв заполнилась крикливым семейством высокопосаженного агронома.

Или, если бы Вера не так концентрировалась на визуальных вещах, она бы услышала, что люди повсюду говорят теперь тише и аккуратнее. В конце концов, если бы она обращала внимание на низких и неприглядных мужчин, она каждый божий день цепляла бы краем глаза пару неказистых фигур в своём подъезде, которые ещё больше горбились при их с Юрой появлении.

Через четыре ночи после рождения младшей дочери Даши Юру арестовали. Сцена ареста застыла в Вериных широко распахнутых глазах как фотоснимок – это стало для неё свидетельством свершившегося. Но всего остального, за этим событием логично следовавшего, для Веры словно не существовало. Она не видела ни тюрьмы, ни пыток, ни лагеря – поэтому ничего этого для неё не было, а воображать себе она не умела.

Вера не кинулась разыскивать мужа, добиваться с ним свидания, а продолжила следить за своим маленьким, отведённым ей миром, удивляя шарахавшихся от неё знакомых и соседей. Пока, наконец, не осмелилась и не постучалась к ней ещё молодая, но уже беззубая соседка с нижнего этажа и не объяснила, куда нужно идти и что узнавать.

Дальше замелькало, закружилось. Невидимые пределы очередей, размытые выше вёрота люди, невнятные слова. Никто ни на кого не смотрел – в отчаянных очередях все стыдливо отводили глаза или просто замораживали зрачки в спасительной пустоте, а те, другие, что в окошках и за столами, презрительно пилили сквозь просящего.

Простор высоких потолков и паркетного пола сменился на тесноту собственной кладовки без единого окошка. В остальные комнаты подселили соседей. Митя молча не понимал, Тоня ныла и просилась к папе, а двухмесячная Даша и вовсе постоянно рыдала сиреной, вызывая у соседей матную рвоту.

С момента Юриного ареста им не разрешили ни одного свидания. Когда Вера вышла на улицу после очередного и окончательного отказа, она зашаталась, осела на истоптанный снег и просидела там долго, утопая в грязном месиве.

Узнав точную дату отправки Юры, она обрела цель – увидеть мужа, когда того будут конвоировать вместе с остальными. Вера готовилась к этой встрече как командующий армии к решающему сражению. Обследовала местность, нашла стратегическую точку с наиболее широким зрительным охватом, заштопала плащ, в котором была на их первом свидании, даже сторговала у соседа-вахтёра театральный бинокль.

За день до «свидания» с Юрой она нашла утром недышащую Дашу. Быстро вынесла в коридор закутанное в одеяло тельце, чтобы не увидели, когда проснутся, живые дети. Потом в своём собственном, принадлежащем только ей тумане одевалась, искала дворника, клала куль на сани, тянула его за собой по городским улицам, отгоняя от него голодных бродячих собак.

На следующий день Вера была воткнута в толпу женщин, приготовившихся смотреть на своих мужей, сыновей и братьев. На ней, несмотря на февраль, висел светло-жёлтый осенний плащ – так она пыталась отобрать себе Юрино внимание у множества окружавших её соперниц. Все стратегические расчёты Веры полетели в тартарары – она стояла там, где ей позволил проглотивший её гигантский женский организм.

Больше всего Вера переживала, что проклятые слёзы размоют изображение и она проглядит мужа. Шёл первый час, второй. Мужчин не выводили. Женское чудовище, изнывая от нетерпения и холода, беспокойно шевелилось. Наконец, на исходе третьего часа вышел человек в форме и объявил, что всех отправили ещё вчера утром. Чудовище на секунду застыло, потом выгнуло спину и издало такой отчаянный внутриутробный стон, что воздух зашатался, а охраняющие испуганно схватились за ружья.

В 1989 году Верин внук узнал, что дед так и не доехал до Беломорканала – умер по дороге от ран, полученных во время пыток. «А хотите, я дам вам адрес человека, который его допрашивал? – вдруг спросила женщина-архивист, по-птичьи выгнув свою тонкую шею. – Он до сих пор жив, ему восемьдесят лет, он получает государственную пенсию с надбавкой». Юра, дедов тёзка, замотал головой и сбежал из архива.

Вера, очнувшись, принялась биться за выживание остатков её семьи. На работу никуда не брали. К знакомым обращаться не хотела, да и сами они, едва завидев её, переходили на другую сторону улицы. Когда Вера дошла уже до крайней степени отчаяния, её наконец-то вызвали «туда».

Рахитный человек с мятой кожей на изящном черепе спросил её, осознала ли она вину перед родиной и народом. Вера кивнула, хотя совершенно не понимала, в чём именно была виновата, кроме того, что являлась женой своего мужа. А чем провинился Юра, она понятия не имела. Только спустя много лет, когда Вера перешла от наблюдения к рефлексии, она поняла, что его уничтожили именно за то, за что она его полюбила: за смелый, открытый и уверенный взгляд.

Через несколько месяцев Веру взяли уборщицей в кинотеатр, куда её водили ухаживающие за ней мужчины. Она собирала вдоль рядов мусор, всегда отворачиваясь от экрана, с которого опять улыбалась вечная Любовь Орлова. Вера не желала ничего видеть, кроме грязи на полу и собственных детей.

Насильно приклеенная ей вина заставляла её стыдиться. Ранее болтливая и открытая всему белому свету, она избегала теперь любого пересечения своего взгляда с чьим-либо.

Люди понимали это: «непровинившиеся» швыряли в неё гвозди презрения, а такие же как она, «виноватые», при виде её роняли глаза в туфли и ботинки.

У кинотеатра Веру всегда дожидались дети. Митя забирал Тоню из садика, и они приходили сидеть в фойе. Жена бывшего прокурора не хотела, чтобы они оставались одни дома, хотя Митя, по меркам того времени, был уже взрослый. Почти каждую ночь Вера, ранее никогда не знавшая снов, видела, как сосед-водитель смыкает свои большие жилистые пальцы вокруг короткой шеи её последней дочери.

Тоня болтала проволочками ног на лавке у гардеробной. Митя, унаследовавший от матери такие же голодные и работающие глаза, жадно рассматривал киноафиши. Вскоре пожилая вахтёрша стала пускать их на сеансы бесплатно. Там Митя сидел прикованный к экрану, объедаясь выхолощенными изображениями. Однажды, в этой изрезанной синими лучами темноте, он принял решение заниматься кино, когда повзрослеет. Мальчик был совершенно уверен, что люди, создающие эту красоту, смогут жить только так же прекрасно, благородно и счастливо.

Через два года Веру повысили до билетёрши. Работа ей нравилась – зарплата побольше, дело попроще и почище, а главное – не надо было смотреть никому в глаза. Она видела только руки сквозь маленькое, похожее на нору окошко. Все остальное закрывала плотная деревянная перегородка. Спустя месяц Вера могла распознать по ладоням алкоголиков, инженеров, сталеваров, учителей, проституток, партийных или просто женатых мужчин, проходящих в кино вовсе не с жёнами. Каждый раз, при появлении в кассовом окне самых неприметных и неинтересных рук, Вера была уверена, что продаёт билет сотруднику НКВД.

Вскоре у неё впервые за долгие годы появился поклонник. Мужчина был, по её старому пониманию, плох – низок, узкоплеч и неопрятен. Илья, всегда покупавший папиросы в киоске у кинотеатра, заметил полную невысокую брюнетку, всегда выходившую в одно и то же время из кинотеатра с детьми. Женщина ему понравилась, и он стал приходить на это место почти каждый день.

Поначалу Вера не видела его, по своей прежней привычке не обращать внимание на неприглядное. Илья почувствовал это и принёс к кинотеатру большой букет ярко-жёлтых, очень приметных роз. Сработало – Вера кинулась глазами к цветам и заметила дарителя. Инстинкт поиска красивого, статного мужчины сместил другой, более полезный – самосохранительный. Рассмотрев низкую, гуттаперчевую фигуру, покатые плечи и не прямой, сощуренный взгляд – Вера сразу поняла, что с этим безопасно и надёжно.

После свадьбы они переехали к Илье в его отдельную квартиру. Она была не так роскошна, как заслуженная когда-то Юрой. Однокомнатная, спали с детьми через шкаф. Илья обещал к весне получить двушку. По ночам, когда новый муж ловко карабкался на неё сверху, Вера смотрела мимо – в потолок. Илья не обижался, понимая, что женщина с такой «виной» никогда его не оставит. А потом, он просто любил её.

В этот раз Вера не позволила себе расслабиться и осталась продавать билеты в кинотеатре. В глаза людям она по-прежнему не смотрела.

Они перебрались в двухкомнатную квартиру в апреле. Всё чаще вместо снов по ночам к Вере в кровать забиралось тревожное, ледяное предчувствие. Оно оправдалось – в июне началась война.

Страшный калейдоскоп застучал, задёргался в Вериных зрачках: уход Ильи на фронт, наступление немцев, оккупация, угон в Белоруссию (чтобы оттуда в Германию), разлука с детьми, выкидыш, побег, партизанский отряд. Здесь в Вере неожиданно проснулась её прежняя зрительная страсть. Она оказалась быстрая и смелая, легко обучаемая, неожиданно пригодная к войне. Издалека замечала в летней лесной каше врагов, предупреждала своих, а потом научилась метко стрелять сама. В грязи и голоде, в полной неизвестности о судьбах своих детей – Вера ощущала себя если не счастливой, то живой. В партизанском отряде каждый

мог смотреть на другого прямым и открытым взглядом, со всех виноватых здесь моментально слезла их незаслуженная вина. Всё было просто и незапутанно, как в прежнее, мирное время: фашисты – враги, свои – союзники.

Следующим стёклышком калейдоскопа в Верину жизнь впился плен. Она шурилась, чтобы не видеть, и забывалась, чтобы не ощущать. Она сбежала, её поймали, вернули назад и так долго били прикладом по голове, что Вера неделю не могла разлепить залитых кровью глаз.

Потом она разглядела освобождение, госпиталь, неразбериху и, наконец-то, Тонечку. От Мити не было никаких вестей, кроме той, что он воевал в партизанском отряде в Белоруссии.

Про Илью Вера не вспоминала до тех пор, пока он не подобрал их с захваченной территории на специально выделенном для него самолёте. На войне новый Верин муж тоже оказался очень смел и полезен. Он стал выше ростом, выпрямился и даже смотреть стал открыто, почти как Юра. Веру это расстроило, она боялась повторения. Про потерянного ребёнка Ильи она давно забыла. Осенью 1944-го Вера узнала, что Митя погиб ещё два года назад, отстреливаясь от немцев на белорусских болотах. У неё, обладавшей раньше бедной фантазией, теперь постоянно прокручивался в голове детальный, будто хроника, фильм о гибели её двенадцатилетнего сына. Вот он забегает за дерево, оборачивается, целится, стреляет, потом будто подпрыгивает на месте, бледнеет и валится на мох, цепляясь за чистое, безоблачное небо застывшими зрачками.

После войны потянулась неплохая, но невзрачная жизнь. За плен Веру не отправили в лагерь. То ли Илья извернулся, то ли недоглядели. Она продавала билеты на вокзале, снова рассматривая человеческие руки через полукруглую прорезь окна. Ничего не изменилось, кроме того, что появилось много одноруких, обожжённых и беспальных.

Повидав фашистов, она не боялась никому смотреть в глаза, просто не хотела. Наблюдать происходящее вокруг себя Вере стало неинтересно. Чтобы избежать новых деталей, перегружавших зрение, она не читала, не ходила в кино, не ездила в отпуск, не заводила знакомств, не меняла привычные пути до работы и магазина. При виде не виданных ранее предметов, людей, местностей её правый глаз начинала сводить страшная судорога.

Тонечка – росла, ходила в школу, училась ровно и без особых успехов. Вера пристально следила за ней – тем единственным, что осталось от её большой, настоящей семьи. Строго она спрашивала с дочки только опрятность и аккуратность. Ничего другого, как Вера была уверена, девочке не нужно было. За Ильёй она тоже присматривала, но лишь из благодарности и смирения, воспринимая его как привычный, приевшийся предмет, не вызывавший у глаз раздражения.

Илья рано вышел на пенсию и, видимо, ощущая свою ненужность, вскоре умер от какой-то почечной болезни. На похоронах Тонечка плакала, а Вера думала, что нужно снять из кухни дерущие глаза ярко-синие занавески, которые он так любил.

Вскоре дал о себе знать немецкий приклад – принялось умирать зрение. Вера систематически отказывалась от операций и санаториев. Однажды утром она увидела мир лишь наполовину – правый глаз окончательно ослеп, но зато перестал болеть.

Вере удалось почти три месяца скрывать эту недослепоту от дочери и полгода – от своего начальства. Когда её отвели к офтальмологу, он развёл руками – поздно пришла. Вера даже не изменилась в лице. Тоне исполнилось шестнадцать лет – вскоре за ней не нужно будет присматривать.

Так как качество Вериней работы не упало вместе со зрением, ей решили оставить место до наступления её полной темноты. Ежедневно она следовала по неизменному маршруту от квартиры Ильи до железнодорожного вокзала и обратно. В одну хлопотную холодную субботу трамвай, как сани скользивший по двум заснеженным тонким полосам, вдруг застыл посередине Веринего пути. Вместе с другими пассажирами она вышла из рогатой железной скорлупки на забрызганный солнцем снег.

Перед ней, задирая олоотки авангардной архитектурой двадцатых годов, стоял её прежний дом. Вера закрыла левый глаз и вдруг совершенно отчётливо увидела слепым правым, как мимо неё своим быстрым уверенным шагом проходит Юра. Высоко задрав голову и радостно помахав кому-то наверх, он вошёл в полукруглую арку и скрылся в дворовом чреве. Вору зашатало и опрокинуло на снег. Слёзы уравнили в слепоте оба глаза.

Спустя три дня после этого видения Вера встретила на вокзале Андрея. Её рабочий зрачок, за много лет отвыкший от подобного рода действий, принялся вдруг отгибать этому новому мужчине края заштопанного плаща, щекотать торчащие из-под рукавов тонкие изрезанные ладони, кататься по широкой дуге когда-то расправленных плеч, лезть в сухое смугловатое лицо и даже кидаться в усталые потухшие глаза. Одетый в обноски, Андрей умудрялся выглядеть опрятно и даже элегантно. За долгие годы он стал первым мужчиной и просто человеком, которого Вере захотелось рассматривать.

Она не помнила, рассказывал ли он ей свою историю, или она сама представила её. Вина Андрея была точно такая, как и Юрина, – прямой, бесстрашный, открытый всему миру взгляд. Опасное уродство. В отличие от Веры, Андрей не искал красоты в жизни. Он фотографировал её такой, какая она есть. Перебитые, замороженные в монгольских степях пальцы не могли больше толком держать фотоаппарат, а глаза смертельно устали от вида перекошенной реальности.

Глядя на своего нового и последнего мужчину, Вера иногда радовалась, что Юра погиб тогда. Был бы жив, смотрел бы сейчас таким же выключенным взглядом.

Они виделись по несколько раз на неделе. Андрей устроился на расположенный неподалёку от квартиры Ильи склад. Насмотревшись вдоволь на свои стареющие тела, они с Верой часами лежали обнявшись, не лаская, а утешая друг друга. Встречая утром материного любовника на кухне, старшеклассница Тоня краснела и тихо роняла: «Здрасьти».

Спустя полтора года после очередного их с Андреем свидания Вера осознала, что им нечего показать друг другу и нечего увидеть вместе нового. Она попросила его уйти и не возвращаться. Андрей всё понял, молча вышел и больше никогда не попадался Вере на глаза.

Она старела, полнела, становилась сварливой, пилила дочь за неряшливость, хотя Тоня выглядела как принцессина кукла – всегда опрятная, нарядная и радостная. Девушка за глаза обижалась на мать, но внешне оставалась спокойна. Вера злилась на явную дочерину неподготовленность к новым катастрофам.

Весной Тоня показала матери своего жениха. Вера его одобрила – он был высок, широкоплеч, одет в хороший костюм. Пожалуй, ей не понравился только его полуоткрытый и полусмелый взгляд.

Олег учился на врача, и Тоня, желавшая во всём походить на него, попыталась поступить в медицинский. Экзамены она не вытянула и понесла документы в медучилище.

На второй неделе своей пенсии Вера ослепла на второй глаз. Утратив главный для неё способ познания и восприятия мира, она быстро потеряла ко всему интерес. Просто сидела на диване, уткнувшись в стену напротив. Тоня бегала с занятий за ней присматривать – кормила, поила, водила в туалет и спрашивала: «Мамочка, мамочка, ты слышишь меня?»

Звуки, запахи, прикосновения – не имели ценности и значения. Они были не ровня взгляду. К Вере часто приходил Юра, устраивался рядом, в кресле Ильи, и смотрел на неё своими уверенными и смелыми глазами, готовыми всё изменить. Других мужчин здесь не появлялось – Вера теперь видела только того, кого хотела.

Семьи с Олегом у Тони не получилось. Она погрустила и через год вышла замуж за непричёсанного, невысокого, но очень работающего заводского мастера. Вера проглядела этого парня и вовсе не заметила, как умерла.

Начало

Гора

Галя – гора ходячая. На улице над людьми возвышалась, за людьми – расширялась. На улице вывески загораживала, двух мужиков перекрывала. Двух с половиной, если юноши. Красивая-некрасивая, кто поймет. Не разглядишь. Ясно – большая. Гора из пейзажа, фон для главных.

У Гали подружка переднего плана – Светка, для которой Галя – удобный задний. Женихов притянуть – самой засиять на фоне горы, женихов отогнать – себя выключить, с горой слиться или вовсе – за неё спрятаться. Женихи гор боятся. Хорошо дружить с горой.

Мама Гали – пила. Пила иногда и пилила дочь про замуж и прочее обязательное, на что горы совсем не способны. Галя-гора не жила с мамой, а ходила в комнату на Нагорной на ночь и в выходные. Вне комнаты Галя расставляла товары в гипермаркете, упиравшемся в горизонт. С её ростом-то и без лестницы – ладно. Зачем горе лестница? Светка Гале не льстила, ругала её за низкую работу, потому что сама без карьерной лестницы не могла.

Галя любила гипермаркет за постоянную жизнь, его широты и высоты. У метро надела на себя мороженую маршрутку, потряслись по кочкам, по пробкам. Не погуби – это Вика из не-Москвы молит орла-водителя. Вика, Артём и Константин-Андреич ютятся в треугольничке, оставшемся вне горы. Мастерские по полкам. Галя – уши красные – сняла шапку, голова держит ржавый потолок. Атланты в уборах не вмещаются.

По полкам по полкам
По закоулкам
Растащили мы наши радости,
По полу по полу
По половицам
Размазали мы наши надежды,
Проворонили наши желания,
Забыли, кем должны были проснуться.

Зеркало

В комнате Галя обычно спала, ела спасённое с кухни, переодевалась и смотрела на себя в зеркало, снова ела. Был ноутбук, да украли полгода назад. Загадкой влезли через окно пятого. Все соседи в пострадавших. В молодой семье напротив Галиной комнаты вскоре завелись какие-то деньги. Жильцы думали-думали и надумали молчанье, друг с другом тоже теперь ни слова. Гале-горе слишком хлопотно, она и так раньше с соседями не говорила. Радовалась, что зеркало не тронули. О пяти стёклах, о пяти разных зеркалах, сколоченных вместе – чтобы всей поместиться. В первом: ноги и дальше по пояс, во втором – живот и грудь, в третьем и четвертом – боковых – руки-плечи, в пятом – всей горе голова. Красивая, некрасивая. Кто разберёт, кто оглядит. Горё бы – художник с налаженной перспективой, рассказал бы другим.

Если меня выжать,
То ничего не останется на полу,
Даже мокрого места.

Если меня разорвать,
То ничего не останется в руках,
Даже мятой одежды.
Потому что я – пустота в форме человека
в форме горы,
По крайней мере, так рассказывает зеркало.

Веселье

Галя-гора взята Светкой на вечеринку в Марьино в качестве фона. Марьино – сегодня край больших надежд. Светкин путь – выйти замуж до-двадцати-девяти-господи-не-подведи. На Бога надейся, а Галя не плошает. Галя работала чётко, вокруг Светки контур и три потенциальных мужа. Уж почувствовала момент – женихи стали побаиваться горы, тогда попятилась, попятилась в угол, к еде. Пять раз врезалась в гостей. Пять раз сказала извините, на пятый – телефон извернулся в руках у владельца-гаджета и слетел на пол. Пальцы тряслись, гладили шрам-трещину экрана. Рана на телефоне, рана на душе, до секунды назад был нов. Выл бы, если бы не все. Галя-гора доедала третью курицу вилкой. Светка определилась на развилке, обняла кандидата в танце, вероятные женихи пришли жалеть треснутый экран. Его хозяин предложил основать трест против Гали-горы. Женихи огляделись – заняться нечем, объединились. Галя-гора объела куриную ногу, запила кислятиной и ушла в туалет. Наткнулась на кису, чуть не раздавила. Подруга веревочкой вилась вокруг избранника.

Галю-гору схватили у двери, волоком на кухню, волчьей стаей обступили. Поржали, раздели ниже пояса. Сейчас стол сломает! Какие у гор расщелины-великаны? Галя-гора молчаливая, боится-не боится, не ясно. Завалили герои гору, руки связали. Герои гор не боятся. Мы все теперь повязаны победой над горой. Оравой постояли, поржали, посмотрели. Какие у гор расщелины-великаны! Провалиться-разбиться! Никто не рискнёт. Залились смехом и разошлись.

Потом сложились в машину: Светка с женихом, не-женихи, хозяин треснутого экрана, бывшие-танцующие на коленях друг у друга и Галя-гора рядом с подругой молчаливой привычкой. Едут-едут, волчья стая перемигивается, Светка шутит-вертится ящерицей, Галя молчит между ней и дверцей. Едут-едут, Марьино лучше бы Марье оставалось, Москва, ты – большая ледяная глыба.

Мама

Мама-мама,
Муж – армагеддон,
Благородный дон – один на район,
И не твой – хоть ты вой,
Хоть ставь кормушку-приманку.
Дон разлился морем по колено,
Пей сама, пей до дна
И купи мороженце
Младшей поколенце.

Вырастет большой,
Вырастет горой,
Тебе лакомство вспомнит.

Мама-мама,
Муж – не-амор, а мор,
Неблагородный дон – знает весь район,
Не-свой – его бы под конвой,
Хоть ставь заборчик-проволочку.
Дом развалился мамой на кусочки,
Пью сама, пью до дна
И куплю ботиночки,
Любимому скотиночке.

Вылетит другой,
За чужой женой,
Ни тебя, ни Галеньку не вспомнит.

Потоп

У Гали-горы зазвенело в бедре во время расстановки товара. Новости: мама – за бога сработала, сотворила потоп. Галя потопала к администратору зала – отпрашиваться правдой: управдом сказал, что мама вроде создателя – смысла живых людей. Администратор ступал важно, министром или Людовиком Четырнадцатым, товары, полки – золотые канделябры, парики, зеркала. Повелеваю и разрешаю, ибо гипермаркет – это я.

Мама – раздавленная ягода, улыбалась ну-да-вот-так-вот-дочкой. На гору кинулась русалка-соседка с плечами в мокрых волосах. Русалка-ругалка орала на Галю-гору, получая эхо. Оставила хозяйничать мать-алкоголичку, которая оставила кран! Мама не то что Бог, она – Иоанн-креститель, соседской дочери двух месяцев от роду, воду в колыбель пустила, а если бы кипяток?! Слыхали, село-пяток-домов-Давыдково, мама Гали-горы теперь младенца крёстная мать!? Оставила хозяйничать мать-алкоголичку, которая оставила кран! Второго ребёнка, в церкви крещённого – сына семи лет, – чуть было не треснуло током из мокрой розетки. Оставила хозяйничать мать-алкоголичку, которая оставила кран! Кого заставить отдавать за новорождённый ремонт: потолки-летающие, пол-стелящийся-ногами-любимый, мебель-дерево-на-заказ?! Русалка ревет, плачет сиреной. Прокляну-наколдую. Галя-гора молчит, эхо копится, твердеет, кусками сыплется. Мать-раздавленная ягода, улыбается. У русалки белые когти, красные глаза, сейчас-сейчас вцепится, утащит сейчас к себе в пучину на пятый этаж, раздерёт на куски, и поминай как звали. Галя-гора.

Полубог

Два шажочка не дотягивал до Бога. Первый: вымок в потоке, от него не спасся (целый Бог, неполовинчатый, спасся бы), рубашка мокрая под пальто, и джинсы мокрые до щиколоток. Второй: женатый. Откуда у Бога жена? Дети – куда ни шло, но не жёны ж! Запыхался – сына и дочку к бабушке на семейной машине. Часто дышит, кадык пляшет, венка на шее бьётся. Жену успокоил одним движением. Русалку-ведьму смыло, осталась красавица. Всех рассадил в комнате, как садовник. Гали-горы маминой неуборкой не побрезговал. Говорил, спрашивал, чудо творил: мама сделалась трезвой и приятной, и гора сама обрела дар речи. Расцвели.

Полубог – видит не всё, но многое. Понял, какие соседи люди, ничего-не-взять люди. Им старший ничего и не дал, чтобы отнимать. Понял и простил. Бог прощает, и Полубог прощает. Из вежливости, из формальности, из любви к жене: про работу, краны, сантехника. И тех успокоил, и жену. Все отдышались, успокоились, как будто и горя не знали. Мама учуяла, что прощены. Жена догадалась – поблагодарила судьбу за мужа. Галя сразу узнала Полубога, что тут неясного. Глаза ясные, с икон, радостью светится, красоты небесной. Галя учудила-попробовала улыбку. Горы говорят, горы улыбаются.

Разговор

Мама. Ты чего?

Галя. Ничего. Я – начинаюсь.

Начало

Начинка из любви – главного концентрата жизни. Начало Гали. Нечаянное рождение, праздник рождения. До Полубога Галя – гора, после Полубога – человек. Любяще-дышаще-понимающий. И что теперь делать человеку?

Могла бы организовать себе мающееся счастье. Переехать к маме. Терпеть перечень её бутылок, воней (вон отсюда, если тебе пахнет!) и скандалов. В кандалах обязанностей, оскорблений и забот. Зато близко к Полубогу. Полуслучайная лестница, полувыглядывания в окна. Лечь на линолеум, гладить его, различать шаги и речи. Ладить с растущими детьми и даже женой. Через десять лет научиться здороваться с Полубогом небормотанием. Обменяться с матерью комнатами через сто тысяч ругательств и слушать, как стонут по ночам в спальне. На пальцах считать дни до окончаний отпусков и на память – полубожьи седые волосы. И душу отдать одним днём с Полубогом. Счастье же? Наивысшее, наибольшее, наитяжелейшее счастье для Гали-горы.

Но где это видано, чтобы горы жили над богами, даже над полубогами; и даже после-горы – новорождённые люди? С такой любовью – даже отдельно от Полубога дышать можно. Разве ж это отдельно, когда на одном свете, под одним солнцем?

Разговор

Телефон. Дзын-дзын-дзынь! Дзын-дзынь-дзынь!

Светка. Привет. Настроение херовое. Телефон расколола. Пойдём в кино? Меня пригласили.

Галька. Нет.

Светка. В смысле?

Телефон. Пинь-пинь-пинь...

После

Гора распалась на гальку. Гальке омываться морем любви и скитаться на волнах по миру. Нет, вначале, после Начала – Галька всё расставляла товары на полке, тряслась в маршрутке-холодильнике, перемигивалась с зеркалами, щупала своё тело. Когда весна заерзала на улице, сосед-бука, подмосковный ИП, вдруг спросил Гальку, отчего она четыре дня не ела – на кухню не ходила, сидела в комнате как прикованная. Уволили или ещё что? Галька, глядя на лилию на календаре за спиной спрашивателя, ответила, что забыла есть и ходить на работу.

Одним мартовским четвергом, когда черти почёсывали копытца и подслушивали пятничные планы через алюминиевые кружки (бывшая гора их не интересовала, у неё, по их разумению, была тухло-зевотная жизнь), Галька сделала круг по своей комнате, оделась, посмотрела в затылки и лбы соседей в коридоре-и-кухне – только ИПэшник дёрнул шеей в порыве повернуться – и вышла из квартиры. В арке двери Галька зацепилась завязкой за ручку – трёшка-вредина не отпускала или куртка-трусиха не желала покидать квартиру – чувствовала, что не вернётся. Галька дёрнула край куртки раз – ничего, дёрнула два – шмотка скрипела, молнией-зубами-сражалась, дёрнула три – завязка порвалась в протёртыше. Всё – совсем народилась – перерезала пуповину.

Чудо-юдо

Гора распалась на гальку. Галька морем любви оmyвается и скитается на волнах по миру. Любви не морем даже – океаном. Он повсюду: внутри-снаружи. Чудо-юдо рыба-любовь. И рыба, и вода – в одно время. Полощет сердце, матку, мозги и всякое другое. Полощет-ласкает, явит Полубога и всю всесветную любовь вместе взятую. Оттого тепло, смело и сытно.

Галька – галька скитающаяся. Не ест, не пьёт ничего кроме дождевых капель (попавших случайно в рот), не испражняется, не потеет, не грязнится почти – правда-ложь – так свидетельствовали видевшие её. Двое галько-свидетелей пытались привести-прикрепить её в церковь, чтобы уберечь. Юродивые – они же при церкви часто. Юродивые, это кто? С Юрой родные? Полубога Юрием звали, если что. Галька теперь рыбой молчащая совсем: зачем мне говорить, когда такая любовь?

Полубог первые секунды просыпания мял пустыню во рту и давался диву, вспоминал снившуюся Гора-девицу, соседкину-дочку, мажущую грязью на стенах надписи. Жалел, что нет рядом ручки, чтобы записать текст. Ревнивые ресницы сонной жены попали в глаза Полубогу, и Гора-пишущая проваливалась на дно памяти. Качал дочь, напевал колыбельную-самоделку, вылетали из полубожьих уст настенные строки. Пел – сам удивлялся. Пел и держал Гальку в глазах, а потом заново падал в дочкины синие.

Настенные песни Гальки в исполнении Полубога

1.

Женщина-гора,
Горит дотла
Оравой смыслов,
Пепел – коромыслом.

2.

Явь не трону,
Без урона
Отломлю кусочек сна,
Что у краешка утра.

3.

Поклоны бью,
Тебя люблю;
Целовал бы
Лоно, локоны,
Муки вокруг да около.

4.

Бог – один,
Разобралась,
Полубог – один,
Разобрали.

5.

Доброе утро, доброе,
Чувство внутриутробное,
Чудо внесоборное,

Лавина моя горная,
Сыплешь и славишь,
Я начинаюсь,
Я просыпаюсь.
Любовь.

Другие ещё не приснились, но уже Галька старается.

Счастливо

Мать очнулась, кинулась искать Гальку, много куда ходить, чтобы плакать, просить и ругаться. Галько-свидетели протоколили свои с Галькой полувстречи. Вроде она – вроде нет, вроде утро – вроде вечер, вроде пела – вроде молчала, вроде мазала стену – вроде танцевала с воздухом. Мать вылезла из запоя вброд, потом и вовсе выкарабкалась. Заходила в церковь и полюбила полубожьих детей, особенно – сына Полубога, дарила ему кораблики из берестяной коры. Плакала, что чувствуется как родной внук, которого Галька не родила.

Света в двадцать-восемь-лет-пять-месяцев-девятнадцать-дней вышла замуж за жениха из волчьей стаи, что шутила над горой. Выносила двойню, выбросила лестницу. Галькину лестницу взял Толя – новый работник зала, раб гипермаркета вместо горы. Нагорная комната сдавалась помощнице ветеринара, и её гость вынес многоликое зеркало на свалку.

Где Галька-галька, бывшая Галя-гора, одному Богу известно. Дышит-бродит – и оттого нам – то неплохо, то счастливо.

Поля

1.

Жена и женщина – жужжало в мозгу у Лужева. Ну жена. Ну женщина. Жонглировал: жена и женщина. Не вместе жена и женщина. Точнее, жена и женщина как раз вместе. Но жена и женщина – это два разных человека. Он жрал негодный коньяк на лавке и шептал в шапку прожжённой пьянчужке: «Жена и женщина – это два разных человека».

Алкопугубленная, губами выпитая, выпивая губами, ими же ухмылялась и размышляла: «Эта милая плешь – рано начал лысеть – изволит философствовать: жена и женщина – это два разных человека. Стало быть, жена – не женщина для него. Женщина – это идеальный образ, который этот тип подобных рано-голых-головою-мужиков представляет себе до женитьбы. После штампа они видят рвотный процесс превращения женщины в жену. Разочаровываются, пьют на лавках, шепчут мне в ушные дыры».

У пьянчужки Жени потекли мысли, потекла и она сама. Философствование+алкоголь+мужик привели её в возбуждение. Сама придумала, что двух сразу героиня – Гаршина и Розанова. У первого – проститутка Евгения, доведшая порядочного человека до пули, у второго – старуха-нимфоманка, платящая мальчикам за эти дёрганья-сокращения – смысл своей жизни.

Женя выпятила губы точно так же, как она целовала обычную свою бутылку, и комаром поднесла хоботок к Лужеву. Тот выпрыгнул из скамейки и сбросился в тротуар. На бегу он осознал, что пьянчужка неправильно поняла его. Выстроила-надумала другое, не-то, что-то банально-правильное. Ему вдруг представилось чрезвычайно важным объяснить именно этой опустившейся, что жена ушла от него к женщине. Женя для него вдруг обратилась в ключ к другим людям, к их пониманию и сочувствию. Объяснить ей – объяснить всем.

Лужев развернулся и заспешил против шерсти дороги. Лавка потеряла пьянчужку. Женя ушла искать уд-удовлетворение среди своих. Лужеву почудилось, что это лавка ему и выдала: «Уд-удовлетворение». Он понял, что никогда и никому не скажет.

2.

Полина-поля-поле – из родинок, волос, глаз, грудей, шрамов, ногтей, половых губ. Лужев часто представлял себе жену именно полем – будто нет скелета, внутренностей, формы человека-женщины, а будто бы она плоская, простыней разложенная с волосным покровом, выпирающими грудями, впадающими отверстиями. Чем хочешь, тем и пользуйся. Надо – падай и отдыхай в поле.

Поля работала в банке. Поля-самобранка приходила домой с работы, раскатывалась, появлялась еда. Лужев иногда мыл посуду после ужина. Дочка Лютя визжала от таких фокусов.

Он знал всё про себя – мужжик. Ради семьи – в ад, на деле – в филиал оного, калякать сигаретные пачки. Лужев дизайнерил в табачной компании. Его душа к тридцати двум потусовалась на разных стадиях курения. В первой был равнодушен, но причастен к курению, во второй: страстно влюблён в сигареты, но не доверял им, в третьей: страстно влюблён в мир-антитабак и сигареты одновременно. Теперь же он был равнодушен к курению и не-курению, считая состояние это мужской своей, тридцатидвухлетней зрелостью. Ставил на пачки болезненно сожранные внутренности и страшные слоганы. И ужасно и тайно оттого радовался, словно

впервые в жизни был причастен к важному: перемене участи чужого. Авось кто бросит. Или не бросит. И умрёт.

3.

Лужев знал всё про семью. Днём дочку прежде в сад, она – цветок. Теперь в школу, но она всё равно цветок, раз растёт. Жену днём – в банк, вечером – домой ласковой самобранкой. Поля удобная, не-высока-не-низка, не-худая-не-толста, не-стервонная и не-тихоня. Обычная и потерянная. Они с Лужевым так и познакомились девять лет назад – она потерялась. Везла накладные из банка и пропала. Тётки-буханки из бухгалтерии попросили найти идиотку. Лужев долго её выуживал с территории мёртвого завода. Нашёл в цеху целую и невредимую и женился. Поля не возражала, понадеялась, что нашлась навсегда. Но и с мужем бродила потерянная. Хорошо-ли, плохо-ли, правильно-ли? Где-я? Кто-я? Зачем-я? Даже после рождения дочки не обнаружилась. Лужев понадеялся, что потерянность – чёрточка Полиного характера.

4.

Всё у Лужева с женой было хорошо. Уд давал на отсечение. И в миру, и в постели. В последнее время даже особенно хорошо. Лужеву казалось, что он находил и находил Полю сызнова, познавая, а на самом деле – отыскивал только себя с ней. Она же в близости всё больше уходила от него и вот однажды совсем потерялась. Полина-поле-поля – свернулась и укатилась. На деле – просто не пришла домой. Телефон плакал дома. Лужев ума не мог приложить. Задумался запостить в фейсбук, зашёл на сайт «Лиза Алерт». Что там надо писать? У МЕНЯ ПОТЕРЯЛАСЬ ЖЕНА. Тут заметил, что исчезли все основные вещи, и только Лютя осталась дома. Вернулась из школы и ждала обычных фокусов: мама-самобранка готовит ужин, папа моет посуду.

Лужев не нашёл жену, но нашёл письмо. Не понял, оставил, разогрел дочери пиццу. За окном на него пялились птицы. Перечитал. Не поверил. Главный смысл в том, что нашлась, я нашлась, Лужев. Хрень-какая-то. Как можно ТАК найтись? Имя Лена ничего не значит. Лен на свете полно. Свет полно. Лен полно. Лень вспоминать, но даже у Лужева было две или три Лены. Две Лены и одна Алёна. Вторая по хронологии Лена предпочитала сблизаться по утрам. Читала сонник. Елена Робертовна – учительница по английскому с пятого по седьмой. Седая, но молодая. Уехала в какую-то южную страну. У Саши Лена-жена. А что толку? Напиться с ним? Как найти Полю? Полю можно найти у Лены. У Лены. Река Лена. Сибирская, кажется. Далеко. Лужев никогда не был в Сибири. Он был в Москве. Что ещё надо, кроме Москвы и Поли-полины-поля? Река и поле. Поле и река.

Читал-читал. Письмо, полное непошлых, полевых цветов. Из бутонов сочились любовь и эврика. Нашлась! – Нашла! Лужев нашёл: там ничегошеньки нет про Лютю. Себя нашла, дочь потеряла?! Забыла. Лужев вдруг понял, что Лютя ему не нужна без жены. Ему и раньше скучно было родительство. Цветы – это ведь женское, не мужское.

Птицы пялились и пялились через пяльца глаз и окон. Лужев не хотел жить с дочерью один на один. Уроки-ужины-скоро-месячные. Каша-малаша из детско-женского. Лужев любил понятие «семья», а «материнство и детство» ненавидел. Отцовство и детство? Лужева затрясло. Заново найти и жениться? Женщин много, он много зарабатывает. Не-лыс-пока, не-толст, а хоть бы и так, всё равно его с руками оторвут и удом. Женщин много. Заказ – новая женская линия сигарет. Девичья линия. Тонкая девичья линия. Чтобы красиво. Тонкие сигареты. Тонкая грань между адом и химчисткой. Никогда не отмыться. Целевая аудитория – твоя дочь через 6-7 лет, – метнул Лужеву маркетолог. Как можно ТАК найтись? Нужно найти Полю.

5.

Лена на деле оказалась совершенно не этим. Лужев ждал толстую короткостригу, а дверь открыла статная женщина в чёрной шапке-каре и с сочным задом. Дом пах Полей. Дом – пах – Поля. Полностью полем разложенная, но как-то по-другому. Перекомплект. Глаза её были залиты любовью и мыслью «нашла!». Сама себя нашла. Потому что женщина, нашедшая женщину, себя находит. Трахались, они всё это время трахались – понял Лужев, и у него заболело в паху.

Полей пахло, срамной, сочной. Но как они это делают? Можно посмотреть порно, хотя там – блеф и бляди. Нужно выяснить. Лена говорила. Поля молчала от счастья. Она же никогда не интересовалась женскими местечками. Зачем? Своих, что ли, нет? Поля лучила любовь, Лена – все-уверенность. Лена предлагала, вертела варианты. Он представил, как она вертит его жену. Может, это наказание за табак? Лена: Лютю поделить! Одну неделю с ним, другую – с ними. Это распространённая практика. Все её друзья так делают. Лужев подумал, что практика – это у иностранных докторов. Иностранная болезнь. Зараза – оттуда.

Лена не ленилась: я достаточно зарабатываю, квартира его – ему. От Лужева денег не надо, надо отца девочке. Мужжская модель в жизни девочки. Лужев увидел, как Лена-не-ленилась и всё взяла на себя. А Поля, раскатанная мягким тестом, лучила своё «нашлась, нашлась!». Не думая, не считаясь ни с ним, ни с Лютей, ни даже с сочнозадой Леной. Кроме любви, после того как Поля нашлась, в ней нечего было искать.

Когда Лужев увидел, как Лена-не-ленилась, не прерывая разговора, подняла упавшую от Лужева обувную ложку и передала её Поле, а та её приняла и повесила куда надо, – он понял, что уже проиграл. Дослушав делёжку ребёнка, Лужев подпёр стену и изрыгнул «сук» в два женских лица.

6.

И всё же – как они это делают? Лужев дома рисовал порно-сториборды, взяв бестабачный отпуск. Лютя его бесила. Она люто канючила какую-нибудь собственную потребность. Без сил шаталась вокруг отца, но не сдавалась. Есть, идти в кино, идти гулять, снова есть, делать уроки. Как же тяжело растут люди, думал Лужев и поил дочку чаем. Без матери-самобранки Лютя принялась чахнуть сама. А главное – злился Лужев. Четыре дня – он пересадил дочь в квартиру к Лене. Она сама открыла ему дверь и без удивления приняла девочку. И как они это делают – засвербило у Лужева в животе при виде жены своей жены. Лена махнула дверью.

Как можно ТАК найтись? Поля – она поле, домашняя, самобранка, не богема. Не поёт, не поэт, не художник. Бухгалтер. Бумажная считалка. Калькулятор с маткой. Ей-богу, откуда в ней это выросло? Между тем ведь – да: Лужев же богему знал, был близок, нюхал, ню ходил, мечтал вместе с группкой творцов в юности, а потом забыл, как второсортный глюк. Какое-то время спустя, совесть спустя, пришёл на сигареты и не слезал с них до сих пор.

Лужев видал в богеме всяких этих, и все они были совсем не то, что его жена. Они были обрубками/обсосками/обтрахами жизни, которым некуда было деваться, кроме как блевать стихами, испражняться картинками и крошить мораль. Разве ж это находка себя? Это потеря. Поля – она поле, она вселенная, с которой до бесконечия хорошо. Глубина в поле, ширина в поле. Это вам не оставаться в вечности, а создавать её. Лужев плакал, размывая слезами свой порно-графический роман.

7.

Женя-женечка, дудочка для поцелуев, удавка для уда, примешься за меня или нет? Лужев пьяненький бухнулся в лавку-лодку, чтоб предложить вечно-плывущей пьянице коитус-круиз. Жене понравилось лужевское предложение, но тут она застопорилась, присмотрелась к Лужеву, задумалась. Желания у тебя – нету, а есть только желание размножить себя. Заговорила Женя Лужеву, заговаривая его от изничтожения себя. Я, что ли, яд тебе, я тебе яд? Обиделась. Самоубивец! Ядом моим падшим себя размножить решил? Женя, сама не ведая, переродилась в героиню третьего автора. Через тело моё падшее, через него, смердящее, выйти захотел? Через меня унизиться?! Грех-греховодник! – совсем одостоевилась Женя и закрестилась. Достала! – Лужев ушёл снимать кого-нибудь без литературенки.

8.

Проверка-дочери. Сервис такой. Сервиз раскладывайте – разливайте чай отцу! Отец-мужчина-муж бренчит гордо! Алименты нужны? Он должен проверить, как растёт его дочь в окружении двух мертвячек. Он должен одарить Лютю мужской заботой. У Поли через «нашлась» попёрла тревога из глаз. Лужев заржал от удовольствия. Лена – не поленилась – налила ему чай и приставила к столу табуретку. Поля кинулась самобранкой и дала всем еды. Лужев скучая смотрел, как дочь заедает макаронами школу. Убежала в мультики – Лужев не двинулся с места.

Миленькие какие бабо-мордочки – кривятся от запаха градуса, который принёс муж. Пах заныл обычным «как-они-это-деланьем», и Лужев решил дожидаться-досидеться до раза. Сколько нужно – столько и задержаться. Женщины перемигнулись жемчугом, Поля с тревожной нежностью, Лена с нежной уверенностью. Кивком договорились и кувырком в семью, пытаясь забыться, что Лужев – есть. Замыли посуду, застирали, загладили, замылили Лужеву глаза. Поля-полина-поленька-поле!!! – молчок.

Лена – не ленилась, выключила мультики, включила Лютин мозг и сделали математику-домашку. Дальше с размашки пересадила Лютю на кухню и попросила отца клеить к картону кленовые листочки. Труд для труда в решётке дневника. Лена – ушла к компьютеру поляков переводить. Поля раскинулась перед ней с книжкой, буквы дрались и не хотели дарить смыслы. Лужев скоро заскучал от труда с дочкой и выбросился из двери. Фуф. Изгнали. Дочь без отца улыбнулась. Полинины буквы схороводились, а Лена не поленилась и ушла клеить Лютины клёны.

9.

Я – памятник мужчине. Я – золотой, бронзовый, стеклянный-оловянный-деревянный. Меня не снести с площади этой кухни, с пьедестала этой табуретки. Я – источник жизни, без меня вас всех просто нет.

Лужев торчал каждый вечер у Лены-Поли-Люти дома. Терпели, не выпирали, чаёвничали и даже кормили. Жалко, – не ленилась Лена, – он же потерялся. Забыла, – объясняла Поля, – жалко мне или нет. Не помню – кто он. Поля-полина-поленька-поле!!! – молчок.

Лужев напоминал, что тут отцовствует. Первое время сажали перед ним Лютю с её домашкой, но Лужев отсутствовал и даже не пытался помочь, а только пел: пятью-пять-равно-двадцать-пять или жи-ши-пиши-с-буквой-и, и ждал, когда можно увидеть, как они это делают.

Дочь уходила делать домашку с нашедшей себя Полей или неленящейся Леной. Памятник научились не замечать даже поющим и пьянющим. Мама, а зачем папа приходит? Лена, а зачем папа приходит? Семья жила – обычно, банально, безыюзно. Лужев куражился – срамной Полей уже пахло меньше. Одна бытовальня: уроки-ужины-стирки-надомная-работа-внедомная-работа-деньги-отпуск-новую-обувь-ребёнку. Слаженный счастливый механизм. Облучали Лужева счастьем, выродошки несчастные. Даже дочка фонила. А может, мне этой дозы и хватит? – минутно-слабничал Лужев.

Ночей для него не наступало – его гнали раньше. Гнала Лена, гнала Поля, гнала даже Лютя. Не уйдешь подобру, не пустим – озлобимся. Как они это делают? – плакал Лужев, скачиваясь по лестнице. Как от этого можно было найтись!? В чём тут смысл? Чтобы одновременно текли месячные?

10.

Я – муж. Муж Полины-поленьки-поли-поля и Лены-не-лени. Муж обеих. Оберег их дома. Я – их судьба и единый спас. Они готовят мне еду, они растят моё чадо. От меня они будут зачинать других детей. Дело только за малым. Пьянчужка Женя послушала, натянула шапку на дыру вместо утащенного собакой-жизнью уха и заплакала о Лужеве. Как-будто он был далеко и мёртвый, а не в одной скамейке с ней. Поля-полина-поленька-поле!!! – молчок.

11.

Лужев – нанялся курьером в направлении Лены. Он не ленился, носил жене жены цветы, газеты и сладости. Ладонями разглаживал её пальто в коридоре. Ладная какая, какая ладная баба, – приплакивал он, лакал чай из кружки и не отрывал от Лениного зада глаз. Малевал на «маке» женскую сигаретную пачку, старался для Лены, но молился, чтоб не курила. Она не курила – смеялась: «Мужья обычно бычат, иногда предлагают любовь тремя фигурами или просят на их глазах заняться, чтоб узнать, “как они это делают”, а тут такой ад».

Поля-полина-поле ходила тревогой собранная, не раскатывалась. Мы здоровые, папа больной – выросло у Люти. Но что ему от этого? Лужев давно жил бездочерный, а теперь и жены не звал, отодвинул её за Лену.

Лена – не река, стена. Великая Полина стена. Линией пролегла между ними. Лена – ключ ко всей данной ему здесь любви. Столица-поля-государства. Падёт она, и Поля снова с ним расстелется.

Лена разленилась, позабавилась лужевской любовью. Лужев только к Лене и ходит, Поля в толк не возьмёт. Лена гогочет, гони-пускай. Лужев даже в Лютин день Лене цветы принёс – свататься.

Солнце, небо, города, дороги, люди, грязь, подъезды! Муж идёт к жене-жены свататься! Посты, своды, свободы, одноклассники, ники, книга лика! Муж идёт к жене-жены свататься!

Схватила Лена за животики, Поля за голову. Удивлена, удушена. Неужели не там нашлась? Зачем? А чем – не за? Мне смешно, а он тебя через меня ищет. Вдруг найдёт? – Куда ему отыскать! Не знает даже, кого искать надо.

12.

Поля-полина-поля-поле поросла обидой за Лужева, за Лену, за Лютю, за себя саму. Вы не те, кто думались. Ты не та, кого любить можно, раз унижать так умеешь. Ты не тот, от кого

родительствовать можно, раз унижаться так умеешь. Поля-полина-поленька-поле!!! – Неужели не там нашлась? Молчок. Все не те, не её. Не такие, с которыми найтись хочется.

Пока Лужев к Лене сватался, пока Лена-не-лень ухохатывалась, – Поля из банка в школу зашла, развернулась-свернулась, Лютю-цветок на себе унесла и навсегда потерялась.

Ходит теперь Лужев по свету, Полю ищет. И ходит теперь Лена по свету, Полю ищет. Поля-полина-поленька-поле! Ау!

Ходит теперь Поля по свету, Лютю растит, живёт.

13.

Пьянчужка Женя «Идиота» перечитала.

Сестромам

Шаг первый: из тела

Сестромам – это страта любви. А Анечке казалось – трата времени и всенапряжение. Пора в гости к Сестромаму. До станции пешком, потом Кунцево-Славянка-Киевская-пересадка-Краснопресненская-Белорусская-Новослободская-Проспект мира-Комсомольская-Ярославский-Мамонтовка-маршрут номер девять. Деловая колбаса – говорит Сестромам на пороге. Отдохни с дороги, выпей кисель. Об Анечку потёрлась киса. Два месяца назад. Адов срок Анечка не приезжала. До станции пешком, потом Кунцево-Славянка-Киевская-пересадка-бац-Парк-культуры. До станции пешком, потом Кунцево-Славянка-Киевская-бац-Смоленка-Арбатская. До станции пешком, потом Кунцево-Славянка-Киевская-бац-Смоленка-Арбатская-пересадка-Чеховская. Маленький, игрушечный адок – всегда сворачивать с сестромамской дороги. Есть дела поинтересней.

Анечка – всюду ладненькая, маечки под курточкой, кеды, бритые височки, острые крылышки-лопатки. Расправила, полетела. Ровный хипстер без истерик, с щепоткой богемщины. Бог любит таких средненьких, ладненьких повсюду. Всё в Анечке хорошо, кроме Сестромама. Да и не в самом Сестромаме дело, а в долге к Сестромаму мотания. Долге говорения. Долге выслушивания. Долге делания вида.

Сестромам хворал всеми заболеваниями, которые могут только влезть в живот. Овощи ел варёные, пил кисель и заварную мяту. Мяу – орала кошка. Ладненькая Аня, ты почему в таких низких брюках – холодно! Дно твоё женское перемерзнет. Рожать не будешь (будто Сестромам весь изрожался). Аня хохлилась, строила рожицы, измаялась уже. Не сестра – мама. Сестромам какой-то. Такая страта любви. Видите-видите, сейчас начнётся, юбку расправит на коленках – и-и-и-и-и-и-и: когда-замуж-выйдешь?!

Мама под землю и спуталась с корнями с Анечкиных шестнадцати. Старшая у мамы – кандидат физико-математических наук – подхватила Анечку и превратилась в треклятого Сестромама. О семестр чуть сама не споткнулась, уродики-студентки радовались, что и на эту нудку нашлась своя беда. Анечка жила, Сестромам коромыслил брови. Начеку жил, кричал, злился. Лились всякие мысли с липкими картинками: Анечка и то и сё делает с мальчиками, Анечка пьёт водку, Анечка колется. Не водилось ничего подобного, но Сестромам мнился. Анечка – колкости в ответ, Анечка же живая.

Сестромам варил борщи, пёк пироги, таскал Анечку в лес по грибы, натаскивал её по математике. Анечка маялась уравнивать, интегрировать, косинусить. Алгебра – белиберда. Ум распят на тригонометрии. Прости-им-не-ведают-что-гуманитариев-нельзя-мучить-математикой. Сестромам – терпига – пять раз нудел одинаковое, но Анечки мимо.

Однажды вышло странно. Числа склянками звенели под Анечкиными извилинами. Сестромам предвкушал решение и кушал баранку с чаем. Куда он денется – ответ сойдётся с книжным двойником, они будут жить-поживать и добра наживать. Анечка разжала пальцы, страдалцы-ответы не сошлись. Анечка – а, всё равно финал – веткой потянула руку размяться и уронила фарфоровое блюдце Сестромама. Смотрите, люди, я пережило революцию, голод, войну, потом снова голод, не отдано за хлеб и сахар, а теперь скалюсь осколками с пола!

С того самого блюдечного дня Сестромам вдруг отпустил. Не таскал Анечку по лесам и математикам. Сдался, обиделся или просто себя пожалел. Анечка без него в университет (не сестромамский, а человеческий – гуманитарный) ловко, на работу ловко, растворилась ловко в Москве шипучим порошком. В одиночестве Сестромам осунулся, постарел, вылез на раннюю

пенсию по тоске и инвалидности. Стал пугаться электричек, приучился лежать в больнице и носить льняные платья.

Анечка – такая всюду ладненькая, во всём хорошая, кроме Сестромама. Личико чистенькое – без прыщика, стена фейсбука чистенькая – без кошечки, банковская история чистенькая – без долга. Не ездить бы только к Сестромаму. Всем и себе Анечка загляденье. Не натоптано, не запятнано, ни грехов, ни жалоб. Никто ни в лоб, ни за глаза плохого не скажет. Всё в Анечке хорошо да славно, кроме Сестромама.

Был один вечер в жизни, была дача. Одолженная, в иле, комарах, болотах. Болтали вдруг о том о сём. Не семьёй, а лучше. Анечка удалась, Сестромам – не сестра, не мама, а вылитая подружка. Пили водку, давились чёрной картошкой, играли в карты. За два года до Анечкиного исхода. Исхохотались, радовались, улыбались душами друг другу. Думали – случилось, и всё теперь пойдет как по накатанной, по наплаканной, по нажитой. Но нет – судьба сыграла, подкинула дурака-вечер, обман-вечер. Через день уже ничего не бывало – ни дачи, ни подружек, а лишь Анечка и Сестромам. Лишиться друг друга скоро, нитью рваться.

Когда Анечка вышла из сестромамского живота, там осталась одна сплошняковая рана. Она всё время ныла теперь, зудела, кусала изнутри. У Сестромама воняло изо рта, как в электричке по сестромамской железной дороге. В Москве – Стрелка, по ней белкой, размяться в Маяке, подучиться в Артплее. Мальчики-девочки – разноцветные карандашики. Любой кластер – в коробке с карандашами. Умненькие, другие, одинаковые. А тут хрущёвки, аптеки, больницы, пятёрочки – один сплошной убогий Сестромам.

Там всё болело внутри, Анечка не любила болезни, она любила Бобо. Мы – богема, мы – буржуазия. Творческие псевдобогатики. И Бог нам судья. Анечка такая ладненькая, хорошая, и гаджеты у неё такие же. Фейсбук – 947 френдов – не ударить в грязь лицом. Языки, мастер-класс на волынке, волонтерство на выходных.

Всё в Анечке, всё у Анечки – кроме Сестромама. Он – винапричина. Анечка не любила чувство вины. Шла в иной день в метро, обходила далеко пожилых, беременных – чтобы вдруг не толкнуть. Вот ещё, мучиться, друзьям не рассказать.

Анечка старалась сама себе у Сестромама не показываться. Терялась тут же вся ладность, её хорошесть. Кошачья шерсть повсюду – убраться некому, посуды горы, узоры пауков на окнах. Сестромам не судил Анечку, не поучал, не настаивал. Не звонил, не звал, не вызывал. Анечка лепетала про «дел вал», про «петля, если не сделаю». Сестромам не судил, не настаивал. Вина Анечкина настаивалась на сестромамской жертве.

Адов срок Анечка не приезжала. До станции пешком, потом Кунцево-Славянка-Киевская... Нет – электричка. С Кунцево до Каланчевки. С Ярославки до Мамонтовки. Там – девятый маршрут. Марш отсюда! Кошка нервно потёрлась об Анечку и убежала. Сестромам лежал на диване, предлагал кисель. Совсем раскисла? – В больнице была. – Долго? – Три недели. – А чего не звонила? – Да что я буду...

Сестромам меняет цвет, как хамелеон. Принести чего? – Да не надо. Адов срок Анечка не приезжала. Сестромам позеленел, покраснел, пожелтел, посинел, позеленел обратно. Телевизор включить? – Да не надо. Ад можно проковырять в себе вилкой. Я в Москву поеду, утром встречаюсь. – Да не надо. Ад потечёт. Чего тебе ехать на ночь глядя? Утром сядешь на маршрутку и поедешь. Ешь колбаску – докторскую. Ок-ок. Вместо ада течёт полка подле музейной кассы, Сьюзен Зонтаг опрокинулась. Завтра зонт возьми – дождь с утра. Зонтаг хлещет не переставая. Сестромам меняет цвет, как хамелеон, уползая в тёмную гамму. Сестромам слушает да храпит.

Храп – хрип? Анечка лежит в соседней комнате, прогнав кису с дивана. Храп – хрип? Иисус смотрит мимо в стену. Под ней – Сестромам. Как отличить храп от хрипа? – спрашивает Анечка в фейсбуке. Гугл в помощь – пишут комменты. Хрипы разгоняются, за ними уже не успеть. Хрипы разбавляются мычаньем. А что больше мучает? – пишут комменты. Анечка

пишет в личку, что, кажется, Сестромам умирает. Может, скорую? – в личку отвечают. Анечку вырубают.

Утром Анечка находит черного Сестромама. Он дышит как рыба на камне и пытается выговорить Анечкино имя. Мечется, не понимает Анечка. Как взрослой надо, расти-расти, танцевать. Этот только для взрослых танец. Ринулась в больницу Анечка. Танцу этому между кабинетами-регистратурами много десятков лет. Летит к одному, потом к другому. Взрослая? Взрослая! – Но нужно участие, участие. Какой адрес? – Участковый у неё Акимова, такая рыженькая-полненькая. Да нет – участки поменяли: Оленев, такой худой-невысокий. Нужно участие, участие. Только с часу, может, и раньше. Ждать?! Жда-да-да-ть! Да-да-да!

Анечку подкидывает, ударяет о больничный потолок и шмякает о мраморный пол. Она просыпается после долгих лет жизни. Мечется, не понимает Анечка. Бежит домой по мартовской жиже, вызывает «скорую». Брови скорого врача – грачи взлетают при виде чёрного Сестромама. Он отодвигает, презирая, Анечку. Та на кухне спасается – ставит дрожащие лайки, читает посты, пишет сообщения в личке, что Сестромам, кажется, умирает. Скорый посылает Анечку за дефибриллятором. Она бежит вдоль бежевых стен. Флоренция-дефлорация, Флоренция-дефлорация – дичит Анечкина голова. Полезный рацион без ограничений – обложка книги в руках у водителя. У Анечки обложило горло: дифобли... Водитель с первого раза слышит.

Сестромам на полу как в кино от разряда подпрыгивает. Скоро сказка сказывается... Скорый и его сестра как школьники склоняют Анечку и пытаются выкосить смерть из Сестромама. Клиническая уже случилась. Клин грачей летит в окне, или Анечке кажется с кухонного пола, на который она села для сородственности. У скорого врача тоже сестра, все мы сёстры и Сестромамы – дичит Анечкина голова.

Врач почему-то накидывает куртку, почему-то уходит. Его сестра почему-то в коридоре, почему-то уходит. Анечке остаются только костяные ноги Сестромама, торчат раной в раме дверного проема. Сестромама вернули на его любимый диван.

Анечка видит моток шерсти под столом. Кис-кис-кис! Киса-киса-киса! Я тебя никогда не любила, киса. Кис-кис-кис! Киса узлами виляет от Анечки. Нужно, необходимо сейчас поймать. Кис-кис-кис! Киса-киса-киса! Кис-кис-кис! Киса кидается в комнату. Туда-сюда мимо Сестромама.

Кис-кис-кис! Киса-киса-киса! Кис-кис-кис! Всё в Анечке хорошо.

Шаг второй: из души

После смерти Сестромама Анечка стала совсем счастливая. Не оттого, что наследница квартирая в Подмоскowie. Не оттого, что пропал долг мотания, говорения, выслушивания и делания вида. Не оттого, что умер Сестромам, а оттого, что Сестромам умер. Оттого, что зажила теперь безмерно. Шагнула-ла-ла. Запела на улице, никого не смущаясь. Ущипнула себя за щёку, коленку, локоть, сосок, шею. Улыбнулась менту. Достала монету из фонтана, вытащила занозу-мечту детства. В плотной метро-толпе поправила прокладку. Всё у Анечки хорошо. Шагнула.

Анечка стала себе мерило всего, приблизительная безмерность. Без вины, с винегретом из ада и рая. У Сестромама душа шагнула из тела, а Анечка сама шагнула из души. Зачем таким мера, из души шагнувшим?

Толкнула в метро беременную, отвернулась – шагнула дальше. Подсидела идиотку на работе, *move on* – шагнула дальше. Выбросила языки, волынку, волонёрство. Зачем таким делать вид, что делают добро, из души шагнувшим?

Шагнувшие не ходят, шагнувшие плывут. В мутную воду люди, дома, маршрутки, магазины, голуби воткнуты. Анечке во взвеси плылось как влюблённой: легко, слепо и радостно. Влюбилась впервые в жизнь, любила с жизнью по-настоящему. Чего ждать, чего терпеть из души шагнувшим?

Уж мужа лучшей подруги невтерпёж – Анечка нестерпела с Женей Танечкиным, Женя решил всё взвесить, подумать и решиться, предложил вместе быть, Анечка на него даже не обернулась. Не в него влюблённая, а в жизнь. Танечка извела себя, мужа, дружбу с Анечкой. А что Анечке, что ей после храпа-хрипа Сестромама в ушах? Шагнувших не волнует.

Увезла Анечка сестромамскую кису в Москву и оставила её возле станции Мамонтовская. Шагнувших не волнует.

В лифте Анечка наступила обеими ногами на обе ноги Филиппа – человека десяти лет. Он молчком, с выпуклыми от слёз и страха глазами глядел. Она приподняла маечку и показала ему острые грудки. Он распахнул испуганные глаза ещё шире. Шагнувших не волнует.

В метро Анечка сидела, не уступая самым хворым и слабым, не отступая от новой своей сладости отсутствия вины.

В поликлинике Анечка вклинилась в толпу и прошла внеочередно к врачу. Не обкричали только от тяжелейшего удивления. Лечащий врач покраснел и увлечённо зачеркался на жёлтых листьях, уронив глаза от такой безмерности.

Март-арт-мат! Анечка публично пользуется все пять распознанных матных слов. Волчок ты волчок, всё у тебя хорошо – водила руками по Анечкиной спине бывшая начальница. Всё у Анечки хорошо.

Шаг третий: в люди

Молва, она как халва липкая. Людям откуда-то стало известно, что Анечка шагнувшая, без вины живёт. Иные потянулись через фейсбук, другие – сквозь руки и голоса знакомых. Осколки друзей тоже подобрались. Избрали Анечку себе в помощники. Ведь всё у неё хорошо, всюду ладненькая, маечки под свитерком, кеды, бритые височки, острые крылышки-лопатки. Расправила чёрные, полетела.

Анечка отчего-то из Москвы в Подмоскowie переселилась, в квартиру. Так удобней безмерно жить (в Москве – во всём мера нужна). Соседка сверху – ближе к телу-быту, сразу сквозь стены поняла – пришла к Анечке за-мужа просить, от-мужа просить. Тот забрался ужом в кладовую комнату, уже пять лет как после развода не уходит, денег не даёт, пьёт, ребёнка бьёт. Три дня назад одно ребро дочери сломал. Три плюс два равно четыре. Чёрт попутал. Бог заснул. Зачем ты ломаешь ребро, которое сам же отдал? Соседка принесла торт, смотрела на Анечку слепыми от жизни глазами. Та слепила крепость из торта на тарелке, почесала крылья – я не люблю «Полёт»: слишком жирный. Соседка съела белый купол и заплакала. В подполе – на втором дворе: клубком свернулся муж в кладовке, таким же клубком свернулась дочь в другой единственной комнате. Он – жизнью свёрнутый, она – отцом.

Всё в Анечке хорошо. Всюду ладненькая, маечки под свитерком, кеды, бритые височки, острые крылышки-лопатки. Расправила – полетела. Руки – крылья в перчатках. На них никакого отпечатка вины. Непочатую чекушку могла соседка в заначке подменить? Могла. Могла соседкина дочь подменить? Могла. Развернуться и подменить. Но Анечка понадобилась, без неё никуда. Это она безмерно, без вины живёт. Сверху прилетела, крылышком махнула, водку подменила. Соседа через два дня в коробку сложили и вынесли, как пса отлаявшего. Соседка коробку «Птичьего молока» принесла, Анечке угодила, шагнувшей и крылатой. У соседки глаза оказались карие и имя Инна. Ни куска от «Птичьего» не отъела.

Ночью Анечка спала в постели как в лодке. Через лоджию в квартиру пришел Сестромам и сел на кухне есть торт. Почему в рай не пустили, не ясно. Сестромам нескладный, неладный, перья опавшие, крылья грустные, груди длинные квёло болтались, куриные лапы царапали паркет. Анечка всё сразу поняла, как шагнувшая, устало на пустой стул рядом опустилась – слушать. Сестромам ел-ел, не доел и оставил в коробке маленький кусок «ни себе – ни людям». Привычка прижизненная, доболезненная. Мама за неё часто ругала. Сестромам-гамаюн выливал когти и вымолвил, что дочь соседки приведёт домой как-отец-мужчину. Тот будет бить ногой, изводить ором – жену, тещу. Рассказывал Сестромам дальше скучно, как студентам на лекции. Зря Анечка: грех на душу – попусту. Та встала и спать ушла. Шагнувших не волнует.

Танечкина бабушка хоть и знала, как Анечка внучкину жизнь изодрала, всё равно к Анечке приковыляла. На костыль полгода назад оперлась, врачаха-молодوخа хамит, диагноз не знает и на старость сваливает. Бабушке никакого валидолу не хватает. Лишнего бабушка не попросит: никогда не бранилась, отmaterить не мастер – Анечку просит. За всех: за бабушек, за дедушек, за деток малых, за мужчин молчаливых, за женщин уставших. За весь район, что не в рай совсем попадает, а в поликлинику. Анечка квиток об оплате принесла, врачаха обрадовалась, спрашивала – что за заразу али болезнь принесли? Анечка её и отmaterила за всех: за бабушек, за дедушек, за деток малых, за мужчин молчаливых, за женщин уставших. За весь район, что не в рай совсем попадает, а в поликлинику.

Гамаюн-Сестромам клюв открывал, Анечка не расслышала, в душе мылась.

Попросил Филипп, сосед двенадцати лет, – он Анечку после лифта лучше всех чувствовал – напугать врага его. Тот – восьмиклассный – жил в хрущёвке, переросточек, еле умещался в комнате с сестрой и матерью. Лениво и каждодневно он пересчитывал хрящи на филипповском позвоночнике и карманные его деньжата. Анечка отвела врага в овраг, дала себя пощу-

пять для вражеской его преданности, раздела, к дереву привязала и третьеклашек позвала в масках лисьих. Они у врага скакали, вокруг него, обнажённого, хворостинами махали, денежными мешочками звенели и песню напевали:

Лис не съест,
Но сил заберёт,
Дорвались до денег
И в овраге лежат.

Гамаюн-Сестромам сказывал, что враг всю жизнь проживёт без женщин, немощным. Шагнувших не волнует. Они вины, боли, страха, радости не чувствуют.

Попросила Анечку подруга Светочка мужнину машину поцарапать. Кого-то другого любит, не меня. Анечка ключом двадцать слов «любовь» выцарапала и полосы-стрелы от каждой в стороны. Должен же человек знать, за что на его машине раны. А муж по-другому прочитал – про другого прочитал. Гамаюн-Сестромам сказал, что от ревности мужниной разведутся. Шагнувших не волнует.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.